

СИБИРИАДА

АНАТОЛИЙ
БАЙБОРОДИН



ДЕРЕВЕНСКИЙ
БУНТ

Сибиряда

Анатолий Байбородин

Деревенский бунт

«ВЕЧЕ»

2017

Байбородин А. Г.

Деревенский бунт / А. Г. Байбородин — «ВЕЧЕ»,
2017 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-7063-9

Книги известного сибирского писателя Анатолия Байбородина выходили в Иркутске и в Москве, рассказы и повести печатались в периодике и в сборниках за пределами нашей страны. Читателю нетрудно заметить, что Анатолий Байбородин родом из деревни и воспитывался в стихии народного языка и быта. Он вырос в смешанной русско-бурятской деревне. И как люди в ней дружили и роднились, так роднились и языки. Тут не нарочитость, не приём, а вошедшее в плоть и кровь автора и его героев языковое бытование. Повести и рассказы писателя в основном о родной ему земле, и написаны они с сердечной любовью к землякам, к былому деревенскому укладу, к забайкальской лесостепной, речной и озёрной природе, с искренним переживанием о судьбе родной земли, родного народа.

ISBN 978-5-4484-7063-9

© Байбородин А. Г., 2017
© ВЕЧЕ, 2017

Содержание

Рассказы	5
Озёрное чудо	5
Купель	16
Утром небо плакало, а ночью выпал снег	36
Господи, прости...	46
Ленский карнак	56
ОЧарованная явь	67
Блажь	74
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Анатолий Байбородин

Деревенский бунт

Рассказы

Озёрное чудо

Валентину Распутину

После Покрова Богородицы – после мягких и влажных снегов, вкрадчиво застывших весь белый свет, утаивших тёмную, молчаливую деревню, – в ясную ночь Сосновское озеро вдруг замерзло. Ближе к Димитрию-рекоставу, когда голубоватый месяц сиротливо и знобко плавал в покойничье-белом сиянии, а звезды, омертвелые листья, похрустывали от стужи и сине позванивали, – о такую пору озеро замирало. С вечера бушевало, полоща на ветру сивые космы, выло с пристоном, металось и билось в заиндевелый берег, царапая когтями деревянные мостки, а утром, на тихой заре – чудо. Лёд... Гребёнкой замерзали вдоль берега на мели вчерашние волны, махом, на измождённом взлёте вдруг обмирали тронутые ночными чарами, а дальше уже стелилась голубоватая гладь. Инеем светился увядший приозёрный ковыль, седина укрывала белёсую щетину построжавшей земли...

Ребятишки, едва опомнившись от влажного покровского снега, от садких и жарких снежков, счастливым воплем встречали очередное Божье чудо, смастерённое воеводой стуж. А чудо... на то оно и чудо... вершилось глухой ночью, заглазно от людей, исподтишка, и чтоб ушлый не узрел, с неба слетал такой сердитый мороз, что избы звенели и постанывали, а коровы в стайках теснее и теснее жались боками, а ребятишки, сомлев у печного тепла, и по нужде-то боялись высунуть нос, чтоб не оставить его на морозном подворье. Ночь же выстаивалась ясная-ясная, прозрачная, как слезинка; видимо, хоть и тайное дело, а несподручно Димитрию-рекоставу вершить Божье чудо впотьмах, вслепую.

Днём же, ближе к полудню, когда с неба веяла ленивая оттепель, горохом сыпала деревенская ребятня из чернеющих изб, катилась с яра на молоденький, звончатый лёд, с которого полуденное тепло слизывало ночной иней и по которому теперь плавали жёлтые, зелёные, буроватые пятна, приливающие от воды, песчаного дна и подводной травы, от синего небушка и реденьких облачков, от ласково засиявшего солнышка. И уже гулял по-над озером, улетал в степь залиvistый звон...

Чудо таилось и в ежегодном обращении озера... кажется, вчера купались, рыбачили... в ледяную степь; чудно было и от пугливого, счастливо кружащего голову ощущения, что, словно милостью Божией, бежишь, катишься по самой воде, – столь ещё тонок и прозрачен потрескивающий лёд.

В телогрейках нараспашку, в малахаях, сбитых на затылок или на ухо, из-под которых настырно топорщились пропотевшие, заиндевелые чубчики, катались ребятишки на подошвах кирзовых сапог, катанок, подшитых сыромятной кожей; пихали со всей ошалевшей моченьки друг друга, тискали и, будто нечаянно, будто раскатившись, обнимали и вопили, смеялись от невыносимо распирающего счастья, пели и что-то потешное выплясывали на льду. Во рту пересыхало, сводило челюсти, и подкашивались ноги; и тогда, сморённые, валились в кучу-малу, смехом переборов мимолётный испуг, потому что лёд опасно трещал, прогибался, то жалобно, то осерчало звеня, пуская вокруг кучи-малы юркие змейки белых трещин.

Бывало и проваливались, и купались в обжигающе стылой воде, потом... как мать ворчала!.. издыхали – маялись в беспмятном жару, но это случалось редко; озеро жалело ребят даже в их озорных играх... люди, бывало, не жалели, а озеро... и за двадцать лет жизни в прибрежном селе Сосново-Озерск на моей памяти утонул лишь один хворый парнишка, которого скорчила падухая прямо в воде. Царствие ему небесное... А вот сосновоозёрские мужики, коль шары вином зальют, что белого света не видят, день и ночь различить не могут, – вот эти, бывало, тонули и зимой, и летом. Случалось, под вечер хмельные и ублажённые рыбаками на зимнем неводе – кули мороженых окуней и чебаков гремят в кузове, – с песнями и байками разгонят машину посреди озера да так впотьмах и угодят в полынью, глядя на ночь, прихваченную нежным льдом и утаённую снежным куржаком и порошей. Бывало, грузовик с разгона далеко улетал под лёд, и редко... редко, кто выгребал к полынье... Но и это случалось не всякую зиму – озеро жило смирно и терпеливо.

* * *

До седой щетины услышу, бывало, песнь: «Школа моя деревянная... Время придёт уезжать, речка за мною туманная, будет бежать и бежать...», и слёзы притуманят глаза, и тихо вызреет в тумане и моя школа. Узкая, двухэтажная, похожая на чёрный скит, выплывший из тумана веков, красовалась школа на высоком яру, и когда озеро замерзало, мы, ученики, не накидывая телогреек, всем скопом высыпали на лёд, и школьная техничка, большая, костистая тётка Арина, закалённая в боях с неслухами, яро звонила в медное ботальце, потом ревела до сипоты и даже грозилась метлой. Но всё без проку. В средних классах после звонка за партами маячили лишь девчонки, да и то самые послушные. Тогда на берег гневной ратью выходили учителя с директором; слепли на миг от праздного ледяного сияния и, может быть, помянув своё отрадное малолетство, хотели улыбнуться – губы их мягчели и плыли в улыбке, но учителя тут же спохватывались, вспоминали, что они давно уже не дети, да к тому же педагоги. Директора и некоторых учителей, гордых при случае открутить ученику ухо, мы побаивались, поэтому, хоть и ни шатко ни валко, враскачку, все же выбирались на крутой берег, где нас упреждали, что будем мыть школу, абы знали, огольцы, наперёд, как срывать уроки.

Но учёба в ледяной день волочилась через пень-колоду. Эхом слышу: серчает сквозь пушкинские стихи Пелагея Сысоевна, огрузло стареющая, но ещё по-мужичьи матёрая, крутонравая:

– ...Я помню чудное мгновение... – грозными очами осаживая егозливых, игривых пареньков, вколачивает Пелагея Сысоевна нежную барскую любовь в пропахшие назьмом и озёрным ветром вихрастые головы. – Байбородин, успокойся!.. передо мной явилась ты... Тимофеев, сядь смирно!.. как мимолётное виденье... Машанов, вон из класса!.. как гений чистой красоты... Белобородов, без родителей не приходи... В томленьях грусти безнадежной...

Потом я слышу физичку...

– Краснобаев, ты что, смотришь в книгу, а видишь фигу?! Читал, читал, а пересказать не можешь. Беда с тобой... Садись... И чему ты все улыбаешься, чему улыбаешься, я спрашиваю? У меня на лице ничего смешного не написано... Опять улыбаешься, опять в окошко уставился... Ага, ладно... Вот что, дорогой мой... – Я жду: вот она махнет обречённо рукой, мол, иди-ка ты лучше в коридор, там поулыбайся, и тогда я, счастливо распахнув телогрейку на сопревшей груди, убегу на лёд, и... в душе моей уже ликующе играет молодой лёд... но физичка насмешливо велит: – Иди-ка, Ваня, к доске, поулыбаемся на пару, а то, я гляжу, больно улыбочивый стал...

Но какая доска-тоска, какая физика, прости господи, когда сияет в душе синий лёд, когда перед обмершим взором выстилается, заманчиво сверкает и зовёт... зовёт раскатистым зво-

ном ледяная степь, где на облысках вот-вот взвизгнут беговые коньки «дуты» и «норвеги», и нету... нету моченьки слушать законы про несчастные тела, которые в воду погружают, сжимают, нагревают, а то и похлеще – расщепляют. К тому же в окошко невпопад, по-апрельски улыбчиво светит солнышко, от его угрева долит в сон, и голова сморенно клонится к парте, с густо покрашенными к осени фиолетовыми чернильными пятнами и варначьими письменами; а учительские слова, не проникая в голову, назойливой мухой жужжат и кружат под потолком, затем кутают, словно стёганым одеялом. Спать охота... бежать на лёд охота.

* * *

Кажется, лишь дети, и чаще деревенские, да редкие взрослые милостью Божией в утённых заводях души уберёгшие детство, могут сладостно и нетерпимо, с щемящим и певучим счастьем ощущать, потом запальчиво или пронзительно грустно переживать времена года, их сказочные межи. Вот межа по-сентябрьски жёлтая, с небесной просинью, когда уморённая, огрузло зелёная листва жухнет и облетает, когда душа человечья, уже не сдавленная суетной летней плотью, полегчавшая, по-осеннему сквозна и проглядна, и готова, кажется, вот-вот повеяться к небу; а вот ядрёно хрустящая от мороза, синевато печальная, снежная межа, где сугробы, словно чистые и вымороженные холсты твоей души, где рябиново засияют святые письмена; а вот межа, обрызганная мелким вешним листом, похожим на ангельский смех малого чада, в ожидании счастья отпахнувшего ясные глаза к божьему свету. И за всякой межой, чудилось в детстве, нас что-то благостное поджидает, и перемены в небе, в лесу, на озере, в поле и нам сулят дивные, похожие на чудо перемены.

Но с вечерней паутиной у глаз и довременной усталю чужь, что и радость-то вся и душевное обмирание лишь в трепетном, нескончаемом ожидании, после коего приступает все та же суетная пустота. И жаль, что уже ничего не ждёшь, что напоминало бы душе о чуде; жаль, что глаза, окутанные серой житейской мглой, приослепли и уже не видят, как выжелтели листья и посыпались... посыпались сквозь осенний туман на инистую, построжавшую землю; а вот и покровский снег, густой и тихий, обряжает землю на долгий зимний сон, а вот и стылая бледная ночь в серебристой россыпи звёзд, когда озеро вдруг замерзало...

Проглядев, пропустив межу, лишь бездумно отметишь в сознании перемену земли, незряче глядя в заснеженный березняк, в синеватую ледяную пустошь, и грустно, и совестно, и тягостно на душе, словно нечаянно слился взглядом с чистым, глубоко в тебя проникающим, терпеливо ждущим детским взором, будто сам Отец Небесный печально всмотрелся в тебя... Утупишь глаза в землю... нечем ответить ясному взору, сквозняком гуляет в душе тоскливая пустота... и, ссутулив спину, болезненно сморщившись в ненависти к себе, поспешишь в крикливое и пёстрое многолюдье, чтобы забыть о недавнем стыде, заглушить его невнятным бормотанием голосов, мельканьем стёртых лиц и мимолётных ощущений, утопить в житейском суетном азарте и не мучиться больше. А мимо, не печалю и не радуя, поплывут по небу, по березнякам и лугам, по озёрам и речкам вековечные времена года, сказочно обмирая на чудесных межах.

* * *

В детстве, из осени в осень дивясь озёрному чуду, стеснялся я ликовать прилюдно... чужь себя старше своих подростковых лет... а, помню, ложился на лёд и подолгу разглядывал омертвело притихшую после октябрьских штормов воду, потом – замершие в чарах изумрудные ветки шелковника, бурые, долгие листья щучьей травы и облепленные тиной ракушки с отпахнутым зевом и намытым песком.

И чудно было видеть на илистом дне бархак – камень, обкрученный проволокой, который мы спускали с лодки заместо якоря и который однажды на свирепом, сполошном ветру, на взъярённой волне, когда лодку безжалостно тащило, то ли сорвался, то ли отвязался... известны ребячьи узлы... и мы не могли нашить бархак ногами в поднятом и взбаламученном иле. А и глуби-то было цыпушке по голень... При виде запропавшего бархака с грустной улыбкой поминались канувшие в воду, а ныне всплывшие к самому льду, беспечные и шальные летние денёчки, слитые в один, осиянный утренним заревом, азартный день; так же слитно поминались бесчисленные рыбалки, и даже всего встряхивала вдруг быстролётная, сладкая и обморочная дрожь, словно опять тянешь из зелёной пучины матерущего окуня, и, вспарывая воду, жалобно, на последнем пределе звенькает жилка, чуть не до крови режет ладошки, исходящие тряской... и вот он, вот он, темнеет спиной у буро смолённого борта, не окунь, дивушко озёрное, мхом и тиной поросшее; вот он, вот он, миленький... ой!.. мамочки родны, а крупный-то чо-о!.. ма-ама-а, с полвесла!.. хоть бы не сорвался, хоть бы... у-у-у!.. гад, сорвался!.. от окунише был, дак окунише!.. такого уж сроду не выудишь!.. метровый почти, и как ещё жилку-то не оборвал?! гли-ка, паря, даже крючок маленько разогнулся...

Явившись на глаза, летние денёчки, рыбалки на утренней заре и ленивом закате тают в осеннем тумане и кажутся далёкими-предалекими, и невозвратными, и хочется плакать.

Отчего же мы плачем о детстве всю свою непутёвую жизнь? И отчего же детство, зябко съёжившись в душе, сиротливо покидает нас? Отчего же оно не с нами до земного края, за которым, кажется, уже вечное детство?

Летом мутное, взболтанное волнами, зимой озеро родниково выстаивалось – видно и на большой глубине до илистого дна, до краплёной ракушки, и осенний лёд под стать воде выстилался прозрачно-голубой, и корова, сдуру выехав передними копытами, раскатываясь, удивлённо и глуповато пучилась, тыкалась мордой в лёд, желая напиться, но ничего не поняв коровьей башкой, с грехом пополам выбиралась на берег и обиженно мычала. Мычала до тех пор, пока сорванец, пригнавший корову поить да и, катаясь на льду, забывший про неё, не спохватывался и не приносил ей воду в ведёрке, перед тем на скорую руку выдолбив топором первую прорубь.

Смотреть сквозь лёд можно было вечно, и манила, манила подводная тишь и неземной покой; мимолётно и горько виделся родимый дом, хмельной и безрадостный... прости всем, Господи Милостивый... и пуще хотелось укутаться подводной тишью, уснуть в прозрачном, чуть слышно поющем, грустном покое. И чем дольше я смотрел сквозь лёд, тем явственней и тревожней наносило пронизывающей, замогильной печалью – чудилось, всё, померло озеро, укрылось ледяной домовиной, и печаль чаровала, привораживала, хотя живое и тёплое во мне противилось стыллой манящей силе, и так хотелось, чтобы вода ожила юркнувшим краснопёрым окунем или взблеснувшим чебачком, чтобы колыхнулся зачарованный шелковник; но сопротивление моё было слабым, вялым, поэтому вода и не оживала проплывающей рыбёшкой, а подводная трава, словно уже омертвелая, не колыхалась; но ведь чуял же я, чуял: пожелай в полную душу, пожелай нестерпимо – и обязательно качнётся шелковник, потом из его сочно-зелёной чащобы тихо выплывет степенный окунь. Но я ничего не желал, желания смёрзлись... я дремотно погружался в стылые, мёртвые воды... и вдруг охватывал страх перед чарами вечного сна... и, очнувшись, я в испуге откидывал голову, с трудом поднимался, чуя цепкий холод во всём теле, потом шёл по льду, неверно и вяло переставляя ослабшие ноги, будто переболел и чудом выздоровел.

Кружилась угарная голова, и чары ещё не выветрились на озёрном ветру, и я с тревогой силился припомнить, что же привиделось в упокое прозрачно-зелёной воды?.. что наплыло к расширенно замершим, то ли видящим, то ли невидящим глазам?.. что нашепталося ушам, в оцепенении чутко скрадывающим в кромешной тиши певуче-тихие и протяжно манящие

голоса?.. Но вспомнить ничего не удавалось, а когда память напрягалась и вытягивалась назад во времени и, затаившись, вслушивалась в себя, когда чудилось, вот-вот прозвучит ответ, перед глазами начинает проявляться водянисто-голубой, размытый лик, ещё неразборчиво погудывает, глухо рокочет далёкий-далёкий голос... тут же, словно с петель, перед памятью срываются тёмные ставни, перед глазами всё меркло, в голове мутилось, позванивало эхом дальнего голоса, а в виски стучала глуховатая боль...

Ощущение было счастливым и жутковатым – все в тёплой, живой сути противилось странному и манящему видению, но и влекло к нему, охватывая ледяным, чистым холодом, который, чудно подменившись, казался уже и не холодом – теплом, ласковым и желанным. Боль в голове стихала, и было непривычно легко, словно прозрачная вода пролилась сквозь меня, вымыв тяжёлый илистый нанос.

Хотя я и брёл к берегу, но все во мне было ещё заморожено, не готово к жизни, особенно глаза, ничего не видящие перед собой, не видящие соседских ребят, счастливо гомонящих на льду и, кажется, зовущих меня; крики и смех, как сквозь лёд, доплывали глухо, ослабленно, да я, оберегая в себе озёрный покой, и не пытался разобрать крики, а, подальше обходя уличных дружков, молил, чтобы никто не кинулся ко мне весело тормозить, потому что с болезненным страхом казалось: толкни со всего пылу – и все во мне тут же рассыплется ледяными острыми осколками.

* * *

Тут уж, горько не горько, а сознаюсь как на духу, что маленьким я за версту обходил гомонливые ребячьи игры, словно умудрился наперёд своих малых годов; да и заполошные игры на лесах сохнувшего сруба либо на льду или приозёрной горке – с берданами из осины и берёзовыми мечами да саблями – игры эдакие нередко вершились спором, дракой и красной юшкой из носа; а драк я, смиренный телок, боялся пуще огня. Бог весть, отчего и когда угарным жаром вдохнулся в душу мою безумный страх: может, хмельной и буйный родич напугал, когда я, титёшник, качался в подвешенной к потолочной матице берестяной зыбке, как на зыбистой волне; а может, страх загнали в меня, малого, крикливые мужики и бабы, о Святки ряженные в бесовские хари, пляшущие, как нежить на Лысой горе?.. Словом, драк я страшился, а при виде людской крови чуть ли не бился в родимчике – внизу живота сосуще и больно сжималось, начинало всего колотить частой и видной глазу дрожью; и ничего я не мог поделаться с собой, хотя и стыдно было, и противно от сознания страха и бессилия перед чужим грубым напором.

Но, как ни крути, ни верти, а драться доводилось – на то и озорное озёрное детство, – вернее, угощаться... кому пироги да пышки, а кому синяки да шишки. Хотя... обидно, смешно и грешно... Бог смалу не обидел силушкой, и в пятнадцать лет я мог любого сверстника забороть, но бить в лицо, в живые испуганные глаза... словно плюнуть в икону Божью. Бить рука не подымалась. А ведь тешился пудовыми гирями, играючи метал и жал двухпудовую да, похваляясь перед соседями, азартно таскал с озера трёхвёдерные бидоны с водой. Взвалив на загорбок, бахвально волок полторы версты, отчего, дурак, и не вырос, в корень ушёл, коренастый, навечно продавился цинковым бидоном к матушке-земле, отчего и смахивал на малую подворотную дворнягу, породистая башка которой словно прилажена от большой и путней зверовой лайки.

И вот сейчас я боялся: нагонит шумная ватага, кинется, повиснет, начнёт тормозить, зазывая побороться, повозиться на звончатом льду, и с маетной болью сломается, искрошится во мне синеватое, печальное ощущение неизъяснимого и наслаждающего покоя, размечется моё одиночество, породив отчаянную ярь.

Так уже вышло на краю осени и полыхнуло дракой; зло охватило, словно вырвали из рук... из души... с зычным хохотом сломали, ископытили то, что нежил в детском схороне и

стеснительно прятал от чужих глаз. Бог весть, во что бы скорчилась драка, какого бы страха и боли натерпелся, но слава Те, Господи, озеро ...первый хрупкий лёд... выручило меня, свершив спасительное чудо.

* * *

И в дождь, и в зной, и в стужу деревенская ребячья всякий вольный час крутилась на озере; и уж для драк тут выгадалось самое подручное поле, заслонённое от деревни и взрослого догляда крутым яром, тесовыми заборами, тынами, амбарами и банями. Так и ревели, брызжа слюной в лицо соперника, когда задирали, а на говоре братвы – заедались, рыпались: «Но чо, пала, айда на озеро... выйдем...» А уж на озере брань вершилась по извечным крепким правилам: мутузили друг друга с корявыми матюгами до красной юшки, потом братва разнимала тряских, взъерошенных петушков, посмеиваясь над их заполошными, сквозь слезы, матюгами: «У-у-у, б..., на хел!.. попадесся, сюка... салаги загну, лен сверну, суючий потрах...» Победного одобряюще хлопали по плечу, а бедного, бредущего восвояси со слезами и расквашенным носом, осмеивали, хотя и жалостливо советовали задрать башку к небу, остужая жаркую переносицу снегом, чтобы унялась кровь.

Как огня страшась драк и позабыв гордыню, унижался я перед варначём, но и мне, девятикласснику, довелось испятнать своей кровью голубоватый лёд... Бриткие на язык, выдумывавая срамные прозвища, назойливо потешались над моей бабьей полнотой, что принесла мне в отрочестве столь горя и слез. Не умея отшутиться, мучительно терпел я насмешки, ладил безразличный вид на лице, багровом от стыда и обиды: дескать, меня ваши убогие шутки не колышут; это я в себе с дрожью бормотал, себе внушал, ибо возмущаться – масла огонь плеснуть, чтобы пламя занялось ярче и спалило душу дотла.

Дразнили обычно три отпетых и здоровенных быка-второгодника, истомлённых в учении, по которым уже слезами уливалась тюрьма; другие же подпевали... подсевали – их так и звали: подсевалы; одни подсевали, абы школьную скуку развеять да заради сладко щекотящего нервы жуткого зрелища, другие из угодливости перед архаровцами, чтобы самих не трогали. Вот эти второгодники-то мне всю плешь и проели насмешками, выдумывая клички одна срамней другой, даже замысловато переименовав фамилию «Байбородин» на «Бабуродил». Ишь чего, лоботрясы, измыслили от скуки... А тут ещё и подлизой стали дразнить: из-за меня не удалось сорвать литературу, чтобы ринуться в кино. На перемене, когда уже пепельно мерк короткий послепокровский день, хитромудрый второгодник, топая с парты на парту, выкрутил и обратно вкрутил две засиженные мухами, пыльные лампочки, перед тем напихав в патроны клочки тетрадного листа. Обесточил, обессветил классную светёлку, когда явилась молодая литераторша.

Безжалостным ветром занесённая из города в озёрную, степную, таёжную глушь и сменившая грозную Пелагею Сысоевну, тихая Серафима Ивановна, заглазно величаемая Симой, вошла в класс и напуганно застыла у двери, озарённая светом из коридора. Робко щёлкнула выключателем раз, другой, третий – лампочки так и не загорелись.

– Неужли обе лампочки перегорели? – удивилась Серафима Ивановна. – И что же нам делать, ребята?.. Директора нет, завхоз ушел...

Братва с гомонливым нетерпением ждала, когда Сима обречённо вздохнёт: «Ну что ж, литература отменяется...», чтобы с воплем – уррра! – кинуться сломя шею в кинотеатр «Радуга», где казали киношку о войне. Невольно помянулось мне давнее: пришёл директор школы и устало выдохнул:

– История сегодня отменяется...

Взревела радостная братва:

– Уррра!.. В кино, робя!

И мало кто сквозь рёв услышал:

– ...несколько часов назад умер...

Потом долго саднила вина перед старым, больным, искалеченным на фронте историком, что, закатывая очи к потолку, не бубнил как пономарь на клиросе, но воспевал: «О Русская земля! уже ты за холмом!.. Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собой деля, а галки свою речь говорили, собираясь полететь на добычу...» Стыдно было перед усопшим историком, но... память заплывчата, вина забывчива.

И ныне ученички нетерпеливо ждали, что Сима отменит литературу, что не будет терзать, спрашивая невыученное, невнятное малому и шалому разуменью: «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, – как слезы первые любви!..» Однако же Серафима Ивановна решила сумерничать с нами, впотьмах читать свои любимые стихи, вроде: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...», но тут архаровцы, стоящие на головах, подняли жиганий свист и рёв – святых выноси, и литераторша смекнула, что затеялось дело нечистое и лукавое, что неспроста лампочки не горят, если в школе свет. Заискивающе, словно милостыню, попросила глянуть лампочки... не могли же все махом перегореть... но не пробился сквозь базарный шум и гам её голос, ещё незакалённый, неокрепший до учительского рыка; тогда она, растерянная, подошла к моей парте, глянула... и мне в сумерках увиделось или привиделось, что глаза ее светились слезами.

Серафима Ивановна откровенно и ласково выделяла меня из братвы – к чтению я смалу привадились, а начитавшись, сам втихаря бредил стихами, подражая Некрасову: «О Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я... Один на утренней заре, когда ещё всё в мире спит...» Вспотевший от волнения, терзая тряскими пальцами заветную тетрадку, сунул ей свои стишки; Серафима Ивановна, прочтя их, подивилась... на вид вроде деревня битая – а вдруг стихи... и, не растратившая пыла и учительского азарта, не спалённая тихой ненавистью к нам, бедовым ученикам, нашла во мне своё утешение. Бог ведь, с каких небес пали в мою душу зерна книжного пристрастия, не привечаемого моей кулацкой родовой, – пропахшими конским потом степными скотогонами и коновалами да провонявшими рыбой с душком озёрными рыбаками?! К тому же матушка вместо росписи малевала наслюнявленным химическим карандашом хилый крестик – вот и вся её бабья грамотёшка, а батюшка прошёл четыре класса церковноприходской школы, откуда вынес в памяти лишь клочки Четых-Миней про жития святых. Родители мои шибко серчали, когда я запойно читал: мать страшила моя книжная хворь, она боялась, как бы я не сдурел с ума; отец жалел свет – денег стоит – хошь керосиновый, хошь электрический, при котором я читал; отец ворчал: мол, за книжки ухватился, а стайка коровья не чищена, дрова не колоты, воды в кадучке – на дне. Словом, чтиво мои родители не жаловали, а потому линияли на солннопечных подоконниках и ершились в этажерке лишь потрёпанные, залитые чернилами ребячьи буквари да азбуки. В школьной и деревенской библиотеке книг мало, кот заплакал, и я стал брать их у Серафимы Ивановны, нет-нет, да и роясь в её домашней библиотечке. Помню, она даже подарила мне сказки Бажова с дивными таёжными картинками, и я берёг сказки как зеницу ока, совал под подушку, потому что... потому что, на беду и горе, ещё и влюбился в молоденькую, не по-деревенски опрятную, ласковую литераторшу. Иногда даже гадал: не по этой ли причине я и к литературе приохотился, стал книжным пареньком, книгоцеем?..

И вот Серафима Ивановна рядом с моей партией, я, опустивший голову, слышу ее прерывистое дыхание, чую на затылке её просящий взгляд; я страдаю, я боюсь архаровцев, тем более до меня уже дозмеился остренький шепоток:

– Попробуй только!.. Пожалеешь потом...

Тут Серафима Ивановна попросила меня глянуть лампочки; и когда я услышал ее обиженно подрагивающий голос, не вытерпел и полез на парту, хотя и смалу рос зашуганным и робким. Деревянной ручкой выудил бумагу из одного патрона, из другого – и свет загорелся.

Серафима Ивановна не пыталась, кто измыслил пакость, но я уже весь урок беспокойно ёрзал на парте, будто в штаны мне сунули свиной щетины; я чуял натуженной спиной сверлящие и ничего доброго не сулящие взгляды архаровцев, я страшился конца урока, когда грянет расплата на мою бедовую голову. Кроме сердобольных девчонок, все по-волчьи, зелено и прищуристо зыркали на меня, предателя и подлизу. И слава Те, Господи, после урока подвернулся крепкий старшеклассник... летом мы на пару удили окуней на озере... подле него и убрёл я до дома целым и невредимым.

* * *

Туманным осенним утром плелся я в школу, как на каторгу; и под стать моему страху скупое и неласково светило полуденное, предзимнее солнце. Возле школьного палисада, где сиротливо зябла чахлая берёзка, безмятежно каталась на снегу, ворожила тепло игреневая кобылёнка – рыжая, с молочной гривой и сивым хвостом.

Встретили меня с весёлой злорадностью: мол, влюбился в Симу, а тут прибежал с молотком ейный мужик, учитель столярного дела, и грозился, что такую тебе любовь покажет, не возрадуешься. Ревнивый шибко... Отбойные второгодники посулились устроить мне «тёмную» за то, что не дал сорвать урок литературы. Но самое горькое, горше не удумать: к ним подпарился и мой заветный дружок Игорюха Гантимуров. Стущались грозовые тучи над моей несчастной головой... Затравленно вжимался я в парту, а Игорюха за моей спиной весело зубоскалил, выдумывая мне прозвище за прозвищем, одно чуднее и обиднее другого.

Учился тот на круглые пятёрки – сын рыбзаводского бухгалтера, есть кому подсобить, если сам не толмачишь в алгебре; не моя беда, коль матушка и расписаться не умела, а отцу в гульбе и подворных заботах-хлопотах было не до алгебры с геометрией. Да и что он мог подсказать со своими четырьмя церковноприходскими, разве что «Отче наш»... А отец Игорюхи забил книгами сервант в ребячьей комнате, и дружок мой в ночь-полночь, с фонариком под одеялом – родители сурово блюли отбой, – читал про индейцев, про жуткие морские приключения пиратов, которые потом бойко пересказывал в школе, ладя жуткие хари, махая руками, словно в них пистолы, палаши и кинжалы. Разинув рот слушали мишкины-книжкины бывальщины даже отпетые второгодники и лишней раз не задирали.

...Я вошёл в класс на большой перемене и сразу почувствовал неладное, касающееся меня: возле окна, за которым снежное сияние, весело гомонили девчонки и по-жеребьячи ржали лоботрясы, а поверх шума-гама куражливо ёрничал Игорюха: раскрыв... мою!.. тетрадь, обморочно закатывая глаза, даже не читал, а завывал:

– Тихо двери притворила, красотой своей маня, и ресницами укрыла с головы до пят меня...

Я понял, что Игорюха вышарил из моей школьной побирушки тайную тетрадь, куда я записывал отроческие мысли и переживания, ходовые стишонки про любовь и разлуку, изукрашенная листочками-лепесточками, витиеватой изморозью, губастыми и бровастыми девами, парящими орлами и летящими чайками. Вот ведь от всех таил, а заветному дружку, на свою беду, читал клочки из потайной тетради... Не помня себя, с пеной у рта ринулся я на предателя, хотел вырвать тетрадь, но тот перебросил ее, словно мяч, приятелю; я – к тому, но он кинул дальше... и тогда я с диким рыком налетел на бывшего друга, сгрёб в беремья и повалил на пол. Такая свирепость меня охватила, что при недетской силушке мог придавить бухгалтерского задохлика, как таракана запечного, но тут приспела братва, расташила, велела идти на озеро и драться по исконным правилам.

...Долго мы с Игорюхой, два кочетка, прыгали друг возле друга, по-боксёрски вертя руками, долго и настороженно похаживали на заиндевелом льду, косились побелевшими от злобы глазами. Но все не решались начать... сызмала возжались и на рыбалках с ночевой спали

под одним тулупом, прижимаясь спинами для согрева... но и отступать было некуда: тесно сомкнувшись в круг, братва подначивала боевыми криками, взяв сторону моего врага:

– Дай ему, Игорюха, по соплям! Дай!.. Ишь, благородная отрыжка... – И так меня дразнили. – Возьми его на калган... бошкой, бошкой!.. Чтобы кровь из сопатки...

Нас нетерпеливо пихали в спину, азартно толкали друг на друга, потому что злоба наша пошла на убыль, и мы кружили кочетами, вроде приноравливаясь, с какой руки ловчее засветить плюху, а сказать по совести, вытягивая время, надеясь поладить миром. Мы похаживали со звериной вкрадчивостью, исподлобья косясь друг на друга, словно два бодучих телка... прорезались рога и больно чешутся... но мало отваги; и чем дольше и нерешительней мы топтались, тем меньше у меня оставалось обиды, потом она вдруг заслонилась жарко нахлынувшим тряским страхом, – маетно было ждать, когда гантимуровский острый, костистый кулак пулей врежется в моё лицо... а я уже не чувал в себе духа ударить и потому заплотшно молил Бога, чтобы все обошлось без драки. Пусть бы обозвали трусом, лишь бы кануло висящее над головой мучительное и затяжное ожидание боли, похожей на смерть. Ждать всегда маетно – легче, когда вдруг, неожиданно, пусть из-за угла, пусть в спину, чтобы в горячке от мгновенной жаркой боли не успел перепугаться.

Истомлённая ожиданием братва всё злее и злее пихала в спину, и наконец один из отбойных, терпение которого лопнуло, вдруг со всего маха смачно вlepил мне в ухо, я с криком обернулся, и тут же от садкого удара померк свет в правом глазу, потом в левом, боль обожгла губы – это уже дружок отпотчевал... Выпучив глаза, ревушим смерчем обрушился я на Игорюху, сбил с ног и, придавив огрузлым телом, стал душить... Парнишка захрипел, побелевшие глаза закатились... Я ничего не помнил, кто-то пинал меня, кто-то отрывал от Игорюхи, и ревущая братва повалилась в кучу-малу... Бог весть, чем бы драка завершилась, но вдруг грозно и властно рыкнул лёд под нашими телами, вогнулся, с грохотом раздался, и мы, обеспамятев от ледяной воды и страха, вдруг очутились в озере, где и остыло моё ярое безумие. Мы, как щенята, брошенные суровым охотником, барахтались в полынье и, не чуя ногами тверди, заплотшно цеплялись за кромки льда; а лёд ломался, крошился под мельтешащими руками, зимняя одежда набухла водой, отяжелела, тянула ко дну... Богу ведомо, как я выбрался на крепкий лёд, и только Игорюха ещё отчаянно и бестолково колотился в полынье, с перепугу, ничего не видя вокруг себя. Я быстро очнулся от мимолётного страха – озера я боялся меньше, чем людей, с озером мы жили в ладу, а потому, вдруг припомнив картинку из «Родной речи», на брюхе подполз к полынье и протянул руку, за которую Игорюха поймался мёртвой хваткой. Невидящие, побелевшие глаза тонущего округлились, по краям обметались кровью, узкие губы стали ещё тоньше, змеистее, посинели и ходили ходуном, жадно хватая морозный воздух, а вокруг него в полынье билась и глотающе плескалась ледяная шуга. Почему Игоюха так перепугался, хотя с таким жарким блеском в глазах, яро брызгая слюной, ведал нам, ребятишкам, вычитанные приключения морских варнаков, а когда слова казались вялыми, бессильными, подпрыгивал и раскачивался, вроде метался по корабельной палубе, и со свистом пластал воздух кривой и невидимой саблей, будто не вычитал похождения пиратов, а пережил на своей шкуре.

И вот я тянул пирата, уже вяло толкущего ледяное крошево, но тот не поддавался из полыньи, лишь крушил грудью острый край, затягивая меня в озеро; и благо что сметливый паренёк пал на лёд и, ухватив мои ноги, потянул... Так в одной связке мы и вытащили Игорюху. От телогреек, штанов валил густой пар, но, прихваченная морозцем одежонка стала коробиться, леденеть, а когда мы хлёткой рысью припустили к деревне, штаны наши гремели и шоркали ноги до саднящей боли. Мы бежали, напрочь забыв о недавней вражде, и про себя, без слов, одним помыслом благодаря озеро, что легко отпустило, не отправило нас, грешных, на корм рыбе; мы бежали не всяк сам по себе, а братчинно слитые, родные после невольного крещения в ледяной воде, после пережитого страха. Мы спаслись братьями и не своевольно, и не по воле озера, а по власти Свыше, пожалевшей нас, непутёвых.

* * *

Сейчас я был наслаждающе одинок. Припекало чисто весной; влажно светился лёд, а снег на приозёрном крутояре слепающе искрился под ярким, но нежарким солнцем; белый свет плыл перед глазами цветастым миражом, кутал сладкой дрёмой, и хотелось распахнуть пошире телогрейку, снова увалиться на лёд и, вольно разметав руки, вечно глядеть, но уже не в тайные и тенистые озёрные воды, а в небо, и глядеть, пока не явится полное ощущение полёта в сизом поднебесье. Домашняя, школьная жизнь казалась скучно придуманной или явившейся в хлопотливом и рваном, изнурительном сне, а нынешняя жизнь – жизнь без унылых переживаний и мятежных хлопот, будто парящая в синеве на тихих крылах ласкового блаженства, – чудилась взаправдашней и вечной.

Когда я уже брёл к береговому яру, сладостное оцепенение потихоньку улетучилось, потому что, выветривая из души тишь и пугающе приманчивый, словно вечный, покой, шало загулял по тоненькому льду удалой перезвон – озеро, очнувшись от задумчивого обморока, звенело и гудело, отдаваясь эхом в поднебесье, словно вода на озёрной серёдке билась в лёд, как в церковный колокол, но не скорбя и не печалась, а радостно дивя Божьим чудом. Озеро обновленно воскресало, кололо полыньи для жадного, могучего дыхания и городило белые хоромы торосов. Не дойдя до берега, снова удивлённый праздничным гулким перезвоном, подхваченный его тугими волнами, я круто развернулся, сослепу чуть не сбил с ног тётку с подошником, в котором она несла воду для коровы, и побежал по льду наперегонки с летящим звоном.

Дивя село, озёрный звон творил страстные, перебористые коленца, окатывал деревню протяжной, по-ледяному прозрачной мелодией; синеватыми волнами плыл по белёсому воздуху по-над деревней, утонувшей в пушистых снегах; и прихватит, бывало, парнишку на скотном дворе, возле распахнутой, парящей коровьим теплом и обмётанной снежным куржаком стайки, обомрёт парнишка, опустит вилы с навильником сена, займётся его сердчишко, полыхнёт зоревым переливом, и не успеет душа отойти, улечься, как гулко проплеснётся сквозь неё туго налитая мелодией новая волна перезвона, уплывающего за поскотину, в степь, к березняку, чернеющему вороньими гнёздами. Далеко по степи летает озёрный гул, и неведомо где тает, где ложится на сухой заснеженный ковыль, ворохнув его своим ветерком.

– Играет ледок... – загнав топор в ошкуренное бревно, промолвит ладный старик возле свежего банного сруба и почешет в потном затылке, сдвигая на глаза шапку; потом присядет на сосновый чурбак, затихнет, подставив ухо праздничному озерному благовесту, и, смущенно улыбаясь, подмигнув сам себе, прибавит: – Играет ледок – ворожит Митря холодок.

И верно, сразу за Дмитрием-рекоставом оживали жгучие дымные холода. Дмитриев день – зимушка лезет на плетень. Лед крепчал, толстел из ночи в ночь – верно, что наложило Введение на лёд толстое леденение; а уж после... трещит Варюха – береги нос и ухо. Но, опять же, к Благовещенью щука колола лёд могучим плеском – обрыдло ей лежать сосновой кокорой в глухом илистом улове, да и тяжело дышать под разбухшим льдом, вот она и саданула матерым хвостом. Мне грезилась замшелая щука – рослая, неповоротливая; а когда слышал гром ледовый и видел вспыхивающие на синеватых зальсынах белые морщины, воображал ее мощный, литой хвост, что коротко и садко хлещет изнутри лёд.

Ледовый гром с долгими звонами и мелкими переливами, празднично, с молодым, взалхлеб ликованием отметив край осени, показав изножье зимы, тихо гас, не гулял вольно, а в один из дней и вовсе пропал, чтобы не стать привычным, чтобы у деревенских ребятишек ужилось в душе благодное чудо. После Благовещенья лишь изредка студёными ночами, когда деревня обмирала, сжималась от стужи, когда затягивалась и станова полынья, озеро вдруг просыпалось, одышливо ворочалось в своей душевной зыбке под низко нависшим, огузлым,

ледяным пологом, потом, неторопливо собрав силёнки, далеко отведя упругий щучий хвост, било им на полную отмашку в лёд, и полынья с громовым треском вновь распарывала озеро, заголив среди торосов густо-тёмную, серебристо-мерцающую в неведомых отсветах, парящую воду.

Над спящими избами, с натугой одолев околземную густую темь, растратив голос, хрипло и неспешно прокатывался сердитый рокот. Проснувшись среди ночи, я слышал его, но внимал уже без осенней счастливой оторопи, без дивления; мы, ребяташки, уже томились в ожидании вешнего чуда, когда серый игольчатый лёд отчалит и отпахнется в заберегах живая вода, заплещется игривой рябью, суля близкое купание и рыбалку. Уже не в силах ждать, когда озеро полностью откроется, спихнём мы непроконопаченную и непроваренную, текущую лодку, чтобы, отталкиваясь шестом, поплавать в бесчисленных среди льда лагунах...

Но пока ещё было далеко до майского дива, пока ещё избы потрескивали, пощелкивали от крещенской стужи, пока ещё снилась нам зеленоватая летняя вода под палящим солнышком, призрачно скользящие по озёрной глади остроносые лодочки и приветно машущие крылами белые чайки.

Сентябрь 1983, август 1984, декабрь 2004, январь 2005 года

Купель

Владимиру Личутину

...На сто третьем году жизни Анисим Жданов, вековечный рыбак из Яравны, тайком от домочадцев наладился удить рыбу: дивья полны коробья...

Лета два, о рыбалке не загадывая, полёживал на печи, грел настывшие за долгий рыбацкий век, отсыревшие кости, молился до вечерошной звезды Спасу и Николе, рыбацкому заступнику, а тут как приспичило, будто Святой Угодник поманил, – отвеслился подальше на долблёном кедровом батике¹ и против заимки опустил бархак²...

От Рождества Христова в 1647 лето атаман Василий Колесников пришёл в Енисейск, откуда пошёл с ватагой в Верхнеангарский острог и на Яравня-озеро, где толмачили тунгусы, кочуют мунгальские³ племена, богатые серебром. Полонённый тунгус Катуга посулился провести казаков к берегам Яравня-озера. Атаман Колесников согласился, но оставил в залог аманатов – Катугину тунгуску с чадами. Пленённый тунгус Катуга петлистыми таёжными тропами вывел казачью ватагу к берегам Яравня-озера, но даже старых следов мунгальского житья и жилья казаки не нашли. В том же

1647 году послал государь казачьего десятника Кольку Иванова Москвитина с сотником Ивашкой Ортеньевым и служивым человеком Ивашкой Самойловым «з Байкала озера, из Ангарского острожку по Баргузину реке и на Яравны озеро проводить серебряной руды и где серебро родица...» Казачий десятник Колька Иванов Москвитин, ведающий азы, буки и веди, бил челом государю: «От Туркуны озера до озера Яравны черным же лесом ехать день. А из него вышла Ока река и пошла в Витим же реку. А по Оке кочуют мунгальские люди и тунгусы. А Ока река велика и глубока, стругами по ней ходить можно, а по Яравне людей никаких, потому что кругом пролегли места худые и топкие и мелких озёр много...»

Спустя год из Енисейского острога вышли казаки боярского сына Ивана Галкина и, обогнув северный Байкал, в устье реки Баргузин срубили острог. А через год казаки добрались до Яравнинских озёр, вышли к диким приболоченным землям, где среди бесчисленных озёр и озерушек бродили лишь охотники-тунгусы, коих и обложили ясаком. На великом озере спустя годы казаки и срубили Яравнинский острог. Увы, недолгий выпал век острогу – Московский тракт пошёл южнее, и острожники, раскатав и погрузив на дровни Спасскую церковь, избы, амбары, укочевали поближе к тракту, где народилось волостное село Укыр. А на высоком берегу озера, повеличенного Большая Яравна, осталась рыбацкая заимка Яравна, что с летами разрослась в рыбацье сельцо, кое по старой памяти так и звалось заимкой.

Здесь и жил второй век Анисим Жданов, неожиданно махнувший на рыбалку в осеннее безвременье, когда рыба уходит вглубь и замирает в ожидании зимы.

А накануне, ещё с вечера, пожилой рыбак, внук деда Анисима, Спиридон, завёл мотоцикл с люлькой, махнул в село Сосново-Озёрск и привёз на заимку богомольную старуху Шлычиху, которая доводилась родней и была, как и дед Анисим, из древлеотеческих единоверцев, кои чтили и старую двуперстную веру, и патриаршую трёхперстную: обе благодатны.

Похожая на счерневшую иссохшую иконную доску, суровая старуха выпихнула из избы всех домочадцев-охальников, табачников окаянных, обрызгала углы припасённой загодя святой водицей, обдымила тлеющей богородичной травой, потом неистово и долго, стоя вместе с

¹ Батик – маленькая плоскодонная лодка.

² Бархак – камень, железяка, заменяющая якорь.

³ Мунгалы – так русские величали все монголоязычные племена.

дедом на коленях, перебирая чётки – старообрядческие лестовки, молилась на образа в красном углу, пригасшие от древности, но изливающие потаённое, тихое, скорбное сияние. В морщинистых лицах старика и старухи, сурово побледневших, но и восково отмягших, будто иконных, светилась уже нездешняя, неземная жизнь, и взмётывались, всплывали над обмершими глазами суровые знаменья.

Потом дед Анисим покоился на лежанке и, держа за руку старую Шлычиху, о чем-то сквозь слёзы шептал ей, и та вздыхала, кивала головой, повязанной чёрным платком, крестила деда, заставляла целовать литой медный крест со Страстями Господними и вторить за ней покаянные молитовки. И диво, старик тихо, но ясно каялся, выговаривая слова, кои домочадцам и не снились:

– ...Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и неведении, яже во дни и нощи, яже во уме и в помышлении: вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец. Аминь... Тебе, Господи Боже мой, главу мою преклоняю и во исповедании сердечном вопию: согреших, Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмы достоин просити от Тебе прощения; но Ты якоже блуднаго сына, помилуй мя, раба Твоего Анисима, яко мытаря оправдай мя, и яко разбойника Царствия Твоего сподоби...

Отмолвившись, Шлычиха сипло и слезливо причитала над стариком, укрывшим измождённые очи тонкими, в синих прожилках, прозрачными веками:

– Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию... Господи, помилуй... Вечера всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим... – После всякого прощения старуха пела ветхим, словно дребезжащим на ветру, плачущим голосом. – Поддай, Господи... Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим... Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим... Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим... Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим... Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим...

Утром, когда запели Божьи птицы и поголубел узенький край неба, старик со старухой встали на поклон, и опять долго молились, после чего обнялись, поцеловались троекратно и вроде заручились встретиться, но уже не здесь...

Почаевав, Спиридон завёл мотоцикл «Ирбит», уместил старуху в люльку и тихо, чтоб донести живой, не растрясти ветхие кости, повёз её обратно в Сосново-Озёрск. В эту пору старик и махнул на рыбалку.

Утихомирив лодку в ему лишь ведомом улове, достал берёзовые мотыльки⁴, выласканные ладонями до тёмно-бурого свечения, похожие на сами задеревеневшие стариковы руки, словно их продолжение, распустил жилку⁵, ссученную из сивого конского волоса, наживил червей, закрепших и покрасневших в сыром мху, и стал поджидать клёва. Забывшись, припевал в реденькую, изжелтевшую бороду, тянул старины протяжным, жалобно дребезжащим плачем.

Под ракитою зелёной
казак раненый лежал.
Он, стрелою прободенный,
крест свой медный целовал...

⁴ Мотыльки – короткие озёрные удилища.

⁵ Жилка – леска для ужения рыбы.

Правнук Кольша – чернобровый, рано заматеревший парень, лет с четырнадцати промышлявший на зимней неводной рыбалке, – хлёстко проплывая мимо стариковского батика, мельком вслушался в заунывно подрагивающий мык, на малое время отмахнул весла над озером, точно крылья, с которых журча осыпалась вода, и чудилось, будто острогрудая лодка летит над самой озёрной гладью. Ничего не разобрал в стариковом пении, усмешливо покачал кудреватой головой и погрёбся ещё шибче, далеко в нос откидываясь голой, дочерна просмолённой на солнце, кряжистой спиной. Не до старика было парню, коль в корме посиживала, игриво ёжась в пиджаке, заманчиво посвечивая васильковыми глазами, белокурая залёта, и правили молодые под самый Черёмушник – дальний берег, непроглядно буреющий кустами черёмухи, боярки, талины. Нетерпеливо и азартно косясь на мягкие, оплывшие колени своей зазнобы, Кольша тут же и забыл про старика. И остался дед Анисим один посреди осеннего озера.

* * *

На диво глубокое, с меркнувшими в печальной октябрьской сини плоскими берегами, озеро Большая Яравна лениво дышало нагулянной за лето, сытой плотью; и это зримо ощущалось, когда в чистых прогалах среди листовой травы играла сорожка, когда она плавилась поверху серебристыми табунами, пучила воду, когда в охоте за ней били хвостами, взбурунивали сонную озёрную гладь ярые окуни и свирепые щуки-травянки.

В те пятидесятые годы озеро ещё хоронилось от многолюдья, пряталось в Божьей пазухе – в забайкальском Беловодье⁶, где вольно и обнажённо плескалось, вымётывая на песчаные, каменистые и зыбистые берега подводные травы-шелковники, будто зеленоватые, сыро светящиеся, долгие космы водяных дев. С тёплого бока загоразивало озеру от Старомосковского забайкальского тракта соседнее озеро, поменьше и помельче, – там, как на перегноистой земле, быстро и буйно возшло шебутное притрактовое село Сосново-Озёрск, в народе прозванное Сосновка-воровка; с двух других боков неохотно подпускали рыбаков к озеру калтусы, зыбуны, а уж с холодного края огрузло и сумрачно приступал к самой воде таёжный хребет с каменистыми отрогами и снежными гольцами, во пору тумана-ползуна словно висящими в небесной синеве.

У самой подошвы хребта и жалась к тёмной, урманной тайге едва приметная с озера, в дюжину дворов, старая рыбацкая заимка Яравна, утаённая и притенённая рослым березняком и дремучими, в два обхвата, листовницами, разложившими по замшелым крышам свои мягкие лапы. Могучие, перевитые узлами жил, вышарканные и выбеленные полыми водами корни листовниц вспучились над землёй, скрепили её натуженными руками, и казалось, что избы не рублены мужиками, Богу ведомо когда и подвернувшими с Руси на забайкальское озеру, а выросли прямо из листовничных корней, словно древесные наросты-капы. До гуда закаменев янтарной смолой, войдя в полную силушку, избы потом весь свой век сурово и покорно травили её на здешних рыбаков, на их домочадцев, обороняя от града и ливня, от одичалых северных ветров-хиузов, во пору осеннего непогожья мокрых, остудных, пробирающих до костей, от свирепых морозов, от зимних буранов, гуляющих по неоглядному озеру, сшибающих с ног. Все терпели избы, грея в своей тёплой утробе народишко, но с летам потихоньку-полегоньку стали томиться, темнеть венцами, морщиниться, потом взялись зеленоватым мхом, вращая в землю, усланную толстым рядом буро-жёлтой топкой хвоей. Уже без прежней важности, мутненько и слезливо, в полной и отрешённой задумчивости всматривались избы своими мелкими окошками в ту незримую межу, где озеро сливалось с верхним и вечным морем.

Вместе со старой заимкой Яравна, что через три века возшла на землях Яравнинского казачьего острога, доживал свой век и дед Анисим, вздумавший порыбачить в ту октябрьскую

⁶ Беловодье – богатые и вольные земли в русской мифологии.

пору, когда не то что на удочку, а и в сети-то отродясь ничего не ловили – вода холоднела, и рыба, лишь тихими тёплыми вечерами играя у берегов, днями пряталась в неведомых пучинных ямах.

Накануне томило и маяло заимку долгое непогожие; ветер-листодёр рвал с берёз и осин остатние жухлые листья и сыпал их на избы или нёс прямо в бурлящее и бесновато ревущее озеро; ветер-верховик с гулом и свистом закручивался среди отмашистых лиственничных крыльев, и деревья скорбно гудели в ночи, раскачиваясь вершинами в самом поднебесье, взбалтывая и роняя наземь дрожащие звёзды, точно тронутые морозом ягоды рябины. Озноб пробегал по сердцевинам листвяков, отдаваясь в натруженных корнях, которые, чудилось, всякий раз после порыва ветра подёргивались, тужились и утробно хрипели в земле. Вместе с листвяками, взросшие на их корнях, постанывали в лад осадистые избы, покачивались, плыли в темени, словно рыбацьи лодьи на морских волнах.

Но, ушомкавшись за день на осенней неводной рыбалке, спали беспробудно мужики; шепотливо молились в теми старухи, испрашивая у Спаса и Царицы Небесной, у Святого Николы милости и прощения за свои прегрешения и грехи домочадцев и чтоб унялся ветер-ветрище; закатывались в сипящем кашле протабаченные и почти всегда остуженные пожилые рыбаки, при этом кряхтели и морщились от ломотья и нытья в костях; просыпались от свиста и воя над крышами малые ребящёшки, испуганно и затажно обмирали, скрадывая скрипы и стоны изб, воображая лукавых оборотней, просящихся в избяное тепло, но, объятые печным жаром, особенно желанным и ласковым в такую ветрину и стужу, слыша рядом посапывание и похрапывание старших, опять засыпали, и даже сквозь мокрую мглу, сквозь одичалый ветер спускались к ним с неба цветастые, солноликие, по озёрному сизоватые, летние видения.

В это непогожье яравнинские мужики и бабы решили, что дед Анисим не переживет осень, он и сам про то говорил с виноватой улыбкой; но в середине октября вдруг потеплело, тихо и невинно заголубели озёрные дали, проветренные за ночь, и дед, уже почти лежавший под образами, неожиданно одыбал, встал на ноги и даже выгрёбся на рыбалку, хотя сроду никто о такую пору не удил.

* * *

Его бы, ясно море, не отпустили, тем более одного, но все домашние, кроме семнадцатилетнего правнука Кольши, оставленного доглядывать за стариком, ушли докапывать картошку на дальнее поле, а Кольше – тому хоть трава не расти.

Вначале дед Анисим выполз на берег и, сидя на перевёрнутой полусгнившей лодке, долго смотрел на озеро, пустое, сероватое, будто засыпающее. Смотрел, как его внучка Матрена – уже давно баба в добрых летах, живущая своим домом, – полоскала бельё с широких дощатых мостков и поругивалась со своим беспштаным парнишонкой, кышкая его от воды, куда малый настырно лез.

– Тебе отец чо говорил, ежли утонешь, то лучше домой не приходи. . .

Малый, подставляя голую заднюшку нежаркому солнцу, сопя и кряхтя, подбирал у самой воды отпахнутые, набитые песком и зеленоватой тиной скользкие ракушки и, хитровато косясь на мать, поджидал, когда та перестанет за ним приглядывать, чтобы тут же искупаться.

Видел старик, как забредали в озеро парень с девкой, до того неприметно сидевшие, а может, лежавшие на сухой траве в затишке под глинистым яром. Приставив ладонь к козырьку сплющенной блином линялой фураги, вглядевшись, признал в парне своего правнука Кольшу, рыбака из тутошней неводной бригады; его этим воскресным днём и высвободили от картошки, чтобы приглядывал за домом и стариком, но тот давно уж забыл отцовы наказания, потому что забредала с ним в воду ухажёрка Тоська, дочь одинокой непутёвой бабы, неведомо откуда и прикочевавшей на заимку.

Зябко передёргивая толстыми плечами, сутулясь, чтобы утаить прущее, как тесто из квашни, обильное тело, смущённо обтягивая вокруг набрякших колен белую исподницу⁷, шла Тоська мелкими шажками, боязливо прощупывая ступнями тинистое дно. Но вот она, похоже, ступила на песочек, пошла ровнее, шире и, когда мягкая грудь ее заколыхалась на воде, охнула, присела, словно курица-наседка, но тут же с визгом выметнулась из воды и, отфыркавшись, поплыла вдоль берега; исподница сбилась на спину, надулась пузырьём, оголив не по летам бабьи, незагорелые ноги. Кольша – плечистый, прокопчённой и провяленный на озёрных ветрах – стоял по колено в воде, почёсывая тощее брюхо, поддёргивая спадающие черные трусы, при этом зарясь шальными цыганскими глазами на Тоську. Проплыв немного, по-собачьи гребя воду под себя, запыхавшись, Тоська встала на ноги, убрала с лица налипшие волосы и, поигрывая плечами, а потом и лукавыми, синими глазами, стала дразнить милого дружка. Да ещё и отголосила на всё озеро:

Дорогой мой зацелуйник,
не целуй больше меня —
мои губы пораспухли
от целуйника-тебя!

Пока дева плескалась, пока оглядывала озёрную благодать и хребет, дотлевающий рябиновым, боярковым, жёлтым, малиновым цветом, подкрался Кольша, нырнул издалека и, вылетев пробкой из воды, ухватив Тоську своими клещнястыми лапами, повалил в озеро, будто в зелёное, ещё не просохшее сено. Тоська оглашенно завизжала, забилась в тискающих Кольшиных руках, колошматя толстыми ногами по воде, словно белорыбица могучим хвостом, – вроде испужалась, вроде сам водовик⁸ потянул её в придонные травы; потом в утеху себе, не умея иначе выразить довольство, со всей моченьки замолотила по Николиной спине, но тут же и прилипла к парню, обхватив за шею и, похоже, даже обвив ногами.

Кольша привычно намекнул на щедрые Тоськины телеса:

– Тоська! Ты как в воду-то забралась, дак ить озеро вышло из берегов. Как ишо заимку не затопило...

– Дурак... – Она опять шлёпнула ухажёра по спине и, придерживав ладонь, протяжно и нежно погладила. – Эх, Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй...

* * *

Возле деда тем часом, поставив на песок таз с выполосканным бельём, присела Матрёна, сухонькая, чернявая, в обвисшем линиялом платье.

– Стой здесь, шемела! – наказала она своему голоштанному парнишонке, который рвался к озеру. – Стой, кому говорю! Ещё сунешься к озеру – жопу надеру... – Она сладила сердитое лицо, погрозила малому пальцем и тут же пожаловалась старику. – Два раза его, идола, из воды вынала.

– Чао? – дед Анисим напрягся, вслушиваясь, и даже приставил возле уха ладонь. – Ты, мнуча, шибче реви, я ить на дно ухо совсем босой, ни холеры не слышу.

– Говорю, в воду лезет, паразит! – гаркнула Матрёна, тыкая пальцем на парнишку. – Утонет вот...

– А-а-а... Но, видно, рыбачо-ок растёт.

– Да уж верно, что рыбачок – так, фулиган, и рвётся в озеро. Силком не оттащишь.

⁷ Исподница – нижняя рубаха.

⁸ Водовик – озёрный водяной в сибирской мифологии.

– Присматривай, деука, присматривай, а то парнишонка-то у ты вольный, того гляди и... Манит озеро, ой, манит. У меня ить тоже был... чуть поболее годами, – утонул, деука, утонул. На ночь глядя полез купаться, да и... Дак и сыскать не могли. Царство ему небесно. – Старик двуперстно перекрестился. – Може, и выпь упёрла.

– Какая еще такая выпь? – поморщившись, досадливо скосилась на него Матрёна.

– А? – Дед опять склонился к ней, приладив к уху ладонь.

– Какая ещё выпь? – досадливо крикнула Матрёна. – Сроду про такую не слыхала. Выдумывашь кого-то...

– Выпь-то?.. Выпь – это, деука, сказать, озёрный бык. Он при солнушке не кажется. Разве что в потёмки на бережок выбредат... Водянушко, он и есть водянушко – нежить, одно слово. Так и скрадыват, кто купатся впотьмах, – кого бы уташшить. Ночной уповод...

– Буровишь ты, дед, кого попало. Ребятёшек пугашь. Видом не видывали, слыхом не слыхивали про твою выпь.

– Вдругорядь, это, придёшь сюда под потёмки, кто-то вроде плачет, зовёт – ой, окстишься да ударишься в гору, себя не помнишь. То ли дева водяная манит, то ли выпь зовёт...

* * *

А молодые, утешно бранясь, пересмеиваясь, забрели аж по самое горло и подтаяли в тёплом мираже; Тоська плавала важной утицей, а Кольша то кружил возле девы, то опять, чисто селезень, накидывался, лип, и раскатывался до самых хребтов захлёбистый, визгливый Тоськин смех.

– Ишь, разыгрались, ничо, холеры, не боятся, – укоризненно покачала головой Матрёна. – Другого-то уж места не нашли, в озеро, срамцы, залезли – гляди, займка, дивуйся.

Дед Анисим догадался, о чём речь, и, ухмыльнувшись в бороду, сказал поперёк:

– В озере-то, милая, самая игра. Пусть потешатся, пока даётся. Ребятёнки-то посыпят – некогда будет играть.

– Зажил народ, не наша беда... – Глаза увядающей жёнки на минуту притуманила зависть, словно вечерние окошки в осени, хотя баба тут же и усмирила, отогнала непрошеное неуютное чувство и уже без горечи договорила: – А нам одна война досталась, пропади она пропадом... Так эту рыбу и фуговали, из мокра не вылазили. Не рыба – дак живьём бы перердохли...

А молодые разлепились, расплылись по сторонам: Кольша, выносясь всей грудью, буровя воду, погреб мористее⁹... Много, видно, осталось неистраченной силы, не прогоревшего жара... Тоська же поплыла, затем побрела к берегу, на ходу собирая рассыпанные по мягкой спине и отжимая русальи волосы. Когда она, раскачивая крутыми боками, метя сырой песок глубокими следами и горделиво отвернув голову от старика и Матрёны, прошла мимо них... мокрая исподница так облила тело, что видны стали буроватые соски, вершащие литую грудь... Матрёна не утерпела и с откровенной завистью подивилась на Тоськину матёрую осанку.

– Выгуль-девка! Гли-ка, аж бока заворотились, поперёк себя толще. И на каких харчах отъелась, на каких перинах вылежалась, ума не приложу. Дома шаром покати, голь голимая... И мать-то вроде мелконька. А эта чисто ведьмедица. Такая не то что вашего Кольшу, листовень с пути своротит, уманит за собой. Ишь, заголилась-то, глаза бесстыжи, свистуха. Так и вертит хвостом...

– Чадородлива будет, – улыбнулся дед Анисим. – Рыбачков натаскат полну избу – успевай пеленай.

⁹ Мористо – далеко в море.

– Ежли в путни руки попадёт, – с намёком на Кольшу, которого заимка считала беспутым, вздохнула Матрёна. – А то и подол задерёт... Ишь, красуется стоит.

Тоська была дородна и спокойна от сознания своей красы и обильности, как озериче, как всё живое на берегу, щедрое и вольное, как этот погожий, румяный день, и, выбредши из озёрной купели, будто из парного молока, стала ещё сочнее и краше. Высматривая в озере Кольшу сквозь синеватый прищур, дева улыбнулась... на спелых щеках взиграли ямочки... потом крикнула:

– Кольш-а-а! Охламон!.. Ты куда моё платье спрятал?

Парень отозвался со смехом:

– Иди ко мне, скажу на ухо!..

– Знаю, знаю, кого ты скажешь... Отдавай платье. А то нагишом пойду – пускай парни зарятся.

Матрёна опять неодобрительно покачала головой:

– Хоть бы уж округилась поскорей, что ли... с Кольшей-то вашим. А то уж парни проходу не дают, так и липнут, будто мухи на мёд. Того гляди, за кулаки возьмутся.

– Да уж сладились бы на Покров, чтоб по-божецки, по-русски, – вздохнул дед Анисим. – А то и впрямь греха не оберёшься: озорная девка, да и наш-то – крутель белого света.

– О-ох, и благодать-то какая на озере! – Матрёна выгнулась долгим и узким телом, закинув руки за голову. – Домой идтить неохота, так бы, деда, и сидела сиднем и ничо не делала. Ишь как распогодилось-то...

– Купель Божья, – поддакнул старик, а Матрёна, не слушая его, подхватила вдруг, вскочила с лодки и стала испуганно озираться кругом. Парнишка как сквозь землю провалился... Баба заметалась по берегу, а потом с лихим криком кинулась в озеро, беспмятно выхватила сына из воды и, не помня себя, прижимая родимого к груди, отбежала подальше от берега, распугав утиную стайку. Опаматовав, видя, что сын цел-невредим, а побледнел, заплакал, испугавшись её испуга, стала всего исцеловывать от пупка до глазынок с висящими в ресницах гроздьями слёз. Очнулась лишь тогда, когда малый, посинев от тисканий и целований, мученически закатил большие, как блюдца, синие глаза, откинул белёсую головёнку назад, подальше от ненасытных, обезумевших материнских губ, весь выгнулся коромыслом и утробно, во всё горло заревел. Мать, теперь видя, что он воротит от неё своё лицо, чуя, что пробует вызмеиться из рук, тут же, костеря его на чём свет стоит – бродягу, варнака, шарамыгу, суслика, божье наказание... – садко отшлёпала, и пухлая заднюшка малого багрово запалилась, а сам он пуще того закатился в рёве, может быть, жалея, что не уплыл поглубже... плыл бы и плыл бесконечно среди шелковистых трав... что дал себя выудить на белый свет, где-то нежат до посинения, то хлещут почём зря, – одна слава, что свет. Сповхватившись, мать снова начала заполошно целовать, вжимать его в грудь, точно желая раз навсегда затискать, заласкать до смертушки, задушить в ласках, чтобы ничего больше не знал, ничего не помнил, кроме материнской ласки, чтобы не переживать за чадо денно и ночью.

На шум подбежала Тоська, испуганно, непонимающе глядя на Матрёну и её сынка.

– Чо случилось, тётка Матрёна?

Баба покосилась на девку досадливо: дескать, не лезь, девча, не твоего ума дело, а вот как своего заведёшь ребетёнка, тогда и помотаешь сопли на кулак.

– Чо случилось, чо случилось... – проворчала она, зло косясь на малого, едва сдерживая вознесённую руку. – В озеро залез, паразит такой... Чуть не утонул. На вас, охальников, нагледелся, как вы придуривали, вот и полез. Как ещё воды не нахлебался – успела выудить... Гляжу, нету мово парня, а он уж под водой плывёт...

Дед Анисим, хоть и не смог подняться с лодки, видимо, отсидел ноги, по которым посыпались мелкие мураши, но тоже заволновался и, лишь с горем пополам уняв тряские руки на коленях, прижав одну к другой и даже прищемив коленями, укорил бабу:

– А я те, деука, чо баил: глаз востро доржи. Манит озеро... купель Божья... ой, манит. Вода да огонь куда хошь сманят, заморозат, околдуют, только и видали. Прямо глаз не спускай... Мой-то парнишонка, царство небесно, тожить так – отвернулись маленько, а он в озеро – и поминай как звали. А тут самый урёв¹⁰, а много ли ребятёнку надо?! Хлебанёт – и готово... Тут глаз да глаз нужен.

Матрёна, не дослушав стариковы говоря, одной рукой подхватила таз с бельём, другой – ноющего сына и торопливо засемила в угор, поднимая голыми ступнями рыжую пыль.

* * *

Когда дед Анисим снова явился на берегу, но уже с ведёрком и удами, Кольша полёживал на жухлой мураве под самым крутояром и что-то куражливо, через нос выговаривал своей зазнобе, которая держала его голову на сомкнутых коленях и перебирала, завивала на палец смоляные жёсткие, точно конский волос, Кольшины кудри. Морщилась, заслонялась ладонью, а то и шлёпала охальника по рукам, когда тот пригребал её к себе на грудь, лез ненасытным ртом к шее и губам.

– Ой, отчепись, отчепись, – игриво отмахивалась Тоська. – Верно, что зацелуйник... И у кого научился, идол...

– В кине видал. Там ишо пели... – парень силным баском насмешливо пропел:

У моря, у синего моря,
Со мною ты рядом, со мною...
И сладким кажется на берегу,
Поцелуй солёных губ...

Кольша уткнулся и зарылся лицом в Тоськину бабью грудь.

– От пристал, лепень, а! Охолонись маленько, – просила дева и, церемонно вытягивая губы, со свистом целовала ухажёра в лоб. – Успокойся, люди же кругом!

– Пускай глядят, завидуют... – Парень засмеялся, ощерив лошажки зубы. – Поехали под Черемошник, а? Лодку столкнём... Поехали, а?.. – Он поднялся на колени, потянул Тоську за руку.

– Одно у тя на уме, – вздохнула подруга. – Куда гонишь?! Знаешь, как в нашей деревне девки пели?..

Хотел милый полюбить
шибко по поспеху,
только вышло у него
людям на потеху.

Отчастушив неожиданным при ее дородности тонким срывистым голосом, вдруг с горечью покачала головой:

– Эх, Кольша, Кольша... Чует моё сердце, поматросишь да бросишь...

Парень вместо ответа ухватил её сгрёбом, подмял под себя, и бог весть, что бы тут случилось на примятой жухлой мураве, но Тоська увидела поблизости старика, силком отпихнула настырного охальника, быстро села, отряхнулась, натянула платье на колени. Кольша, перехватив ее взгляд, глянул мутными, невидящими глазами на своего прадеда и махнул рукой:

– Кого испугалась?! Он уже и под носом-то ничо не видит.

¹⁰ Урёв – глубокая заводь.

– Да отстань ты, отстань, – уже раздражённо дернула Тоська плечами. – Прилип как бан-
ный лист. Неудобно аж.

– Неудобно штаны через голову сымать.

– Грубый ты, Колька...

– Да ладно тебе, кого-то строишь из себя, – скривился парень, вышарил в жухлой траве
под яром ополовиненную чекушку водки, поставил ее на расстеленную холстину, где среди
перьев лука-батуна подсыхал ломоть хлеба и белели очищенные яйца. – Примешь маленько?
За любовь?

– За любовь?! – горько усмехнулась Тоська. – Какая там любовь к лешему!..

Тут старик подошёл к ним совсем близко, невнятно бормоча в реденькую бороду и что-
то выискивая под крутояром. Присмотрев молодых, долго прищуристо всматривался, вроде не
признавая, хотя вот-вот с тёткой Матрёной дивился на них, выходящих из воды.

– Ты чего, дед, бродишь?! – правнук досадливо оглядел старика. – Иди домой. Залазь
на печку и лежи...

Старик, видимо, не расслышав о чём речь, улыбнулся правнуку и стал подсыпать землицы
в чумашок¹¹, где у него лежали неведомо когда накопанные дождевые черви. Он ковырял землю
крюковатым пальцем, щепотками трусил её в чумашок.

– Деда, как-здоровьице-то? – зная про старикову глухоту, почти проревела Тоська, но
дед всё равно непонимающе уставился на неё.

– Как здоровье, говорю? – добавила Тоська голоса.

– Как у быка, – пробурчал Кольша, сердитый на старика за то, что некстати явился. –
Еще нас переживёт... Женить его хотели... Тут одна старуха сваталась. – Правнук намекнул
на бабушку Шлычиху. – А дед говорит, дескать, женилка ишо не подросла.

– Ой, Коля, кого-то болташь своим языком поганым...

– Дак оно, милая моя, какое теперичи здоровье-то?! – не слыша или не слушая правнука,
дед Анисим светло и ласково улыбнулся Тоське. – Одне одонья¹² остались от здоровьица-то.
Чужой век зажил... Но да ничо, слава богу, живём, хлеб жуём, а ино и посаливам.

– А говорили, приболел.

– Кого ты с им разводишь тары-бары! – фыркнул правнук. – У его же не все дома, к
соседям ушли. Нашла с кем олады разводить.

Он, полеживая за Тоськиной спиной, диву давался: последний год старик совсем из ума
выбился, чудить начал, а тут вроде и заговорил по-человечьи, ожил. По избе-то с ботажком¹³
шаркал, а тут, на тебе, на берег припёрся.

– Ты как это из дома-то вылез? – усевшись возле Тоськи, спросил Кольша прадеда. – Я
еще давеча хотел узнать.

– Да уж сподобился... с Божьей помощью.

– И куда ты, старый хрыч, лыжи наострил? – подозрительно глянув на чумашок с нажи-
вой, потом на уды, стоящее возле батика, заинтересовался правнук. – Уж не на рыбалку ли
наладилась?

– А? – Дед склонился, подвернув ухо к правнуку.

– На рыбалку, говорю, собрался? – крикнул Кольша.

– Да надоть маненько. Спробую, Кольша, поужу. Може, глядишь, и талан¹⁴ будет.

– Талан... – передразнил правнук. – Ты чего, совсем умом-то ворохнулся? Вали, вали
домой. Народ-то не смещи... Тоже мне, рыбак выискался.

¹¹ Чумашок – берестяной коробок.

¹² Одонья – остатки, осадки.

¹³ Ботажок – палка.

¹⁴ Талан – удача.

– О-ой, я, Миколай, столь на своём веку переудил, тебе век не переудить. Сроду без добычи не ворачивался, заздря уды не мочил. Може, и теперичи Бог даст.

– Иди домой, не придуривай. Ожил, что ли?

– Ожил, паря... Да я близенько тут, под берегом. Мористо не буду заплывать. Маненько поужу – и назадь.

– Назадь... – опять передразнил его правнук и, повернувшись к Тоське, удивлённо покачал головой. – Ну-у, дела-делишки... А я, когда купались-то, гляжу: дед выполз – ничего себе, думаю... Ты вот что, старый, сказано тебе, дуй-ка лучше домой, лезь на свою печку и не дури, не смехи народ. Помрёшь в лодке, отвечай потом за тебя.

– Нич-о, поперёд смерти не помре. Бог не захочет, и прыщ не соскочит. Да я недалёко, под берегом, на твоих глазах.

– О-о-ой, – парень устало мотнул замороженной головой, – как ребёнок... Да ить зря же скаташься – октябрь уж, поди. Вода холодная. Забыл, что ли?... Рыба давно уж вглубь ушла, с месяц как на удочку не тянет. Будто не знашь... А ишо и рыбак прозываешься. Я вон сети зря мочил: десять концов поставил – едва на жарёху поймал. А ты на удочку хошь. Маленько-то соображай.

Дед Анисим на Кольшины слова лишь улыбнулся в снежную изжелта бороду, хитровато мигнул Тоське, почесал затылок, сдвинув на глаза сплюсненную фуражку, и прищуристомо вгляделся в озеро.

– Ну-у, чо уж Бог даст, то и даст. Нет, дак хошь на воде посижу, душу отведу. А ты чем зубы-то попусту мыть, подсоби-ка лучше батик спихнуть. Одному-то мне не одолеть. А то пока шель-шевель, глядишь, уже и стемнет. День-то теперичи короткий, с воробьиный скок... Но давай, подсоби.

Дед Анисим спустился к батикку и стал укладывать на дно удочки, ведёрко, чумашок с червями.

– Зря ты, Колька, отпускаешь деда, – подумала вслух Тоська. – Загинет ещё.

– Вот и поговори с ним. Силком его упереть домой, что ли?! А-а-а... – махнул рукой правнук. – Бог с ним, пускай едет. Раз душа просит, пускай потешит её. Все же рыбак был...

– Ну, ты кого там телишься? – позвал старик. – Помогай! А то прокопошимся, тут и Спирия подскочит. – Дед помянул своего внука Спиридона, Кольшиного отца: дескать, ежели тот увидит, дак чего доброго еще и не пустит на рыбалку.

– Ну, смотри, дед, я не отвечаю, – упредил правнук и, подойдя раскачистым шагом, легонько, одной рукой пихнул на воду сухой долблёный батик. – Но чтоб под берегом у меня сидел, понял? Рыбак, мать её за ногу...

– Съезжу-ка я, паря, охотку собью, – отозвался дед, вставляя весла в уключины, половчее, поусадистее пристраиваясь на лавочке и дугу для упора нащупывая ногами, обутыми в ичиги¹⁵, смазанные дёгтем. – А ты послухай-ка сюды, ужотко чо я тебе скажу: хва, паря, казаковать, хва, а то и своя жизнь кобыле под хвост улетит, и деука испортится, за волю схватится. Ишь, кака брва, шепётка¹⁶. Парни, поди, табуном ходят.

– Пусть ходят, мне-то какое дело! – холодно-то усмехнулся парень.

– Уведут из-под носа, помянешь мои слова.

– О-о-ой. – Кольша снисходительно засмеялся. – Да я свистну, косяк набежит.

– Во-во, досвистишься... Ты уж давай, паря, к одному краю пригребай: или не дури деуке голову, не сомущай, или уж закон Божий¹⁷ примай, чтоб по-русски всё, по-божецки.

– Ты чо-то, дед, нонче шибко разговорился.

¹⁵ Ичиги – мягкие сапоги из сыромятной кожи, смазанные дёгтем, чтобы не пропускали сырость.

¹⁶ Шепётка – красива.

¹⁷ Закон Божий принимать – венчаться.

– Не баламуть Тоську, не бери грех на душу, а на Покров мирком да ладком и свадебку сыграете. Ишь, чадородлива – глядишь, и рыбачка принесёт, да Жданом и окрестите.

– Таких имён теперь не дают. Да и пошто в честь тебя-то?

– А чего, я жизнь, худо-бедно, ладом прожил. Може, и чадо ваше в меня пойдёт.

– Ладно, дед, собрался на рыбалку, езжай, некогда мне с тобой рассусоливать. – Правнук пихнул батик со всей мочи, и тот заскользил по тихой, застоялой воде, с певучим журчанием обтекающей туповатый нос.

Когда старик уже опустил бархак, заменяющий якорь, и настроил уды, Никола, все так же прохладаясь с Тоськой на мураве под яром, сердито заворчал:

– Ну дед, ну Мазай, говорил же ему, под берегом сиди, так нет, вон как мористо увеслил. И откуда силы взялись...

– Здоровые были мужики, не чета нынешним, не пили, не курили.

– Но чо, Таисья, пойдём ко мне? – Парень крепко обнял подругу и прошептал на ухо: – Дома никого.

– Ещё не чище! – отпрянула Тоська. – С каких таких пирогов я к вам-то попруть? Кто я тебе?.. Заугольница?.. Ночная пристёжка?..

– Да ладно, кончай приставляться.

– Хороший у вас дед, – с грустным вздохом сказала Тоська, поглядывая на чернеющий стариковский батик и, видимо, перебирая в памяти дедовы слова, сказанные про неё, вернее, про них с Кольшей. – И хорошо сказал... Бросишь ты меня, однако... Но ежли кинешь – утоплюсь. Понял? Как в песне... – Тоська отчаянно пропела на всё озеро:

Если забудет, если разлюбит,
Если другую мил приголубит,
Я отомстить ему поклянуся,
В речке глубокой я утоплюсь.

– Ладно, ладно, не реви!.. Пошто вы такие, девки, сразу: брошусь, утоплюсь...

– А-а-а, теперь уж чо говорить. – Дева невесело рассмеялась и, обхватив парня за шею, с неутолимой нежностью уставилась на него. – Снявши голову, по волосам не плачут... Ох, свалился же ты на мою голову, идол окаянный.

– Это ещё кто на кого свалился, надо посмотреть, – улыбнулся Кольша.

– И за что я тебя полюбила, в толк не возьму! Ты-то меня хоть маленько любишь? – Тоська пытливо, с надеждой и сомнением всмотрелась в Кольшины рыбы глаза. – Молчишь как рыба об лёд. Да ладно, теперь уж всё одно...

– А поехали-ка под Черемушник. Отдохнём, ягод поклюём.

– Какие ягоды! Октябрь уж...

– Ползуниха... – Парень засмеялся и потянул деву к лодке.

– Да не тащи ты меня волоком. Что я тебе, тёлка глупая! Сама сяду, – вырвалась Тоська и, дождавшись, когда парень спихнёт лодку на воду, уселась на корме.

* * *

День вызрел тёплый, но нежаркий и тихий-тихий, на редкость тихий. На отлёте сентября и зачине октября всё чаще и чаще задувал хиуз – по-зимнему пробирающий до костей северный ветер, – косматил постаревшее в осени, гудящее по ночам озеро. А тут на диво, на погляд все утихомирилось, притаилось в сизовой дымке. Даже чайки, и те промеж себя судачили вполголоса ... баюкали задремавшее озеро, со вздохами поминали отлетевшее к небу бабье лето... и летали уже без былой рыбацкой суеты – плавными, печальными кругами, и не орали

ором, не гомонили, вырывая друг у друга пойманных чебачков, – насытились, видно, остепенились да, построжав, собирались с духом в дальний перелёт. И всё загибали и загибали круги возле дедовой лодки, похоже, он подбрасывал им загодя припасённый хлебушек, потому что отпочтывать рыбой не мог. Впрочем, попрошайничали мелкие чайки и сеголетние чайта, нынешним летом вставшие на крыло; а матерые чайки, прозываемые бакланами, да и средние, посиживали вокруг лодки, точно старики и старухи на солнопечной завалинке, с печалью в слезливых и застойных глазах дивуясь молодой ненасытностью и суетливости; иногда, очнувшись от старческой дрёмы, встрепенувшись крылами, властно вскрикивали, осаживали молодых, если те вдруг, плача и бранясь промеж себя, слишком настырно завивались над самой дедовой лодкой, – того смотри, из ведра потащат, если, конечно, там было чего тащить.

Ярыми кострами – красной, жёлтой, малиновой цветью – полыхал над озером таёжный дыбистый хребет, отражаясь в белёсой, будто омертвелой, воде. И чудилось, там, в озёрной глубине, светится в осеннем угасании иной хребет – нежнее и чище, и замерли над гольцами сизые облака и, замедленно, отмашисто вздымая и опуская крылья, безголосо пролетают чайки.

От таёжного хребта, где на каменистом облыске чернела заброшенная часовенка святого рыбацкого Угодника Николы, истекало едва приметное цветастое сияние, плыло над умолкшей водой, колыхаясь дивным миражом. В призрачном рое свечений и плывущего эхом с небес, ангельски тихого пения старик одиноко сидел в лодке, изредка подёргивая коротенькие удымотыльки, разложенные по избитому, отрухлявевшему борту, с коего сыпался в воду жёлтый прах.

Ближе к сумеркам озеро и пуще высветлилось, стало таким гладким и зеркалистым, что когда пролетала чайка, то ясно виделось, будто другая чайка скользит под водой, среди замерших в пучине белёсых облаков, вытянутых, похожих на диковинных рыб; там же, в озёрной глубине, среди белых рыбин являлось и лицо деда Анисима, опушённое ковылистой, выцветшей бородой, а встречу ему зазывно посвечивали обмельчавшие под старость, кротко синие очи.

* * *

...Хватились старика уже вечером, когда, приплыв берегом, выскочили из лодки Никола с Тоськой. В это же время вернулся Спиридон и, костеря своего непутного сыночка, суетливо сбежал с крутояра к воде. Прихватив на берегу сына, обнимающего на прощание сморённую Тоську, тут же набросился на него:

– Ты что же это, мякинна твоя башка, деда-то отпустил? – Спиридон, невысокий, кряжистый мужик, с крупным и будто сонным лицом, был непривычно возбуждён и от досады готов был, кажется, плюнуть в сытые и бесстыжие Никольшины зенки. – Тётка Матрёна доглядела... Здоровый уж бык, а соображения совсем нету, мать тя за ногу. Вот сыночек-то вырос на мою шею, а...

– Ладно, ладно, батя, чего разлаялся? – огрызнулся сын, переминаясь с ноги на ногу, снисходительно поглядывая на шептунного низкорослого папашу. – Что я тебе, должен был его, как телка, на привязь посадить?

– Э-эх, вечно у тебя пень да колода... Тебя как доброго оставили за дедом присмотреть, а ты куда ушастал? – Спиридон поскрёб сивую бороду и покосился на Тоську, хмуро оглядел ее с ног до головы. – О-о-ой, беда, беда, беда... Эвон чо дед отчебучил, на рыбалку умотал. А ты шуры-муры свои...

Тоська покраснела как маков цвет, испуганно одёрнула мятое и мокрое платье, потом, нервно прикусывая нижнюю припухшую губу, круто развернулась и, горделиво заломив шею, пошла к займке.

– Ты бы подумал, бестолочь, маленько своей башкой! – Спиридон постучал казанками себе по лбу. – Ты бы вспомнил, сколь ему лет! Ох, беда, беда... Но чо шары выпучил? Давай

кричи деда... Каку холеру он там засиделся?! Пускай домой веслит... Кто сейчас на рыбалку ездит...

Еще не смеркалось, но солнце уже село в озеро и посвечивало со дна утомлённым, блеклым светом; и небо, и озеро по-осеннему широко, неоглядно отпахнулись, замерли, глядя на ночь; и посреди остуженного, грустного покоя, посреди серебристой воды стариковский батик виделся сиротливо чернеющим бревном-пльвуном, которое, мерещилось, тихонько уплывает и уплывает туда, где озеро сливалось с небом – вечным морем.

Сперва покричали деда на разные лады, но тот не шелохнулся, потом, как и обычно, колошматили берёзовым сучком в медный таз. На гомон и бряк спустились прибрежные мужики и бабы, явилась и тётка Матрёна, за которой поводком волочился её парнишонка, ухватившись ручонкой за подол.

– Днём это ишо бравенько с им посидели на берегу, – тревожным шепотком, как про покойника, вспоминала тётка Матрёна, нет-нет, да и со вздохом всматриваясь в чернеющий стариковский батик. – Дед ишо баял: дескать, манит озеро... А тут ишо мой варнак... – тётка уж замахнулась на малого, чтоб дать затрещину для острастки, но, глянув в озеро, сдержала заполошную серчалую руку. – Тут мой идол под шумок в воду залез да чуть не утонул... Но так чо, бельё-то выполоскала, уж в ограду вошла, на крыльцо-то вздымаюсь, гляжу... мамочки родны!.. Дед Анисим в море погрёб! Не загинул бы... – Тётка Матрёна невольно высказала догадку, какая у заимских уже зрела в уме, но тут же спохватилась и прижала язычок, виновато покосившись на Спиридона.

Тот ожёг пустобайку суровым взором – чего ты, баба-дура, раньше времени хоронишь старика?! – и велел сыну сталкивать лодку:

– Ладно, Кольша, чего зря глотку рвать, плыть надо к деду.

* * *

Дед Анисим лежал, переломившись через борт, и красноватая закатная рябь колыхала плавающую бороду, накатывалась с прищёлком и причкомом на низкий, скошенный лоб и, журча, обтекала бледную, с буроватыми пятнами, морщинистую плешь. Выскользнувший из-за ворота, покачивался на витом шнурке медный крестик, блёсенкой посверкивал в чернеющей воде. Рука деда, упавшая за борт, сжимала ветхую фуражку с лопнувшем посередине твёрдым кондырем. Может, испить наклонился или уж глотнул из фураги студёной осенней водицы, да тут и отлетел к небу попутно с озёрным ветерком стариковский полегчавший дух. А может быть, старик, который неведомо когда и красовался перед зеркалом, загляделся, не узнавая, на своё отражение в воде... по-младенчески растопыренные уши и по-младенчески же выющиеся подле ушей бело-пушистые остатние волосы; утекающий в пегую плешь изморщенный лоб, под крутяком которого хоронились, посвечивали изглуби, как два махоньких синеньких озерушка, дедовы слезливые глаза... и это отражённое лицо, может быть, приблизилось старику замершим ликом святого Угодничка Николы, рыбацкого обережителя, который поманил, поманил деда... Или уж привиделся сынок, лет восемьдесят назад утонувший в прибрежной урёме, и, может, позвал едва слышным голоском, похожим на лепет озёрной ряби, и уж не стало сил противиться родному зову.

Возле стариковского батика качался на сумеречной волне припозднившийся баклан, и когда Спиридонова лодка заскользила рядом, жалобно вскрикнул, всхлипнул, тяжело взнялся и огрузло полетел по-над самой водой, кругом огибая батик, отчего Спиридон невольно обмер, провозжая вещь птицу испуганным взглядом. И после – когда, привязав батик к лодке, отец с сыном греблись в берег, – баклан все кружил и кружил подле, призрачно темнея на заревном небе, и, словно поминальная плачя, прощался со стариком заунывными воплями. Так чудилось Спиридону, так он шёпотом обсказывал и на рыбацкой заимке.

– Батя, батя! – в диве пуча глаза, показывая ими дедово ведро, полное отборных окуней, не молвил в голос, а сдавленно прошептал Кольша. – Гли-ка, гли-ка, полно ведро надергал, с опупком. И окунь-то хрушкой...¹⁸

Не слыша его, Спиридон сторожко, с оберегом косился на баклана, который не отставал, решив проводить древнего рыбака до самой заимки.

– А как чуяло сердце, – выдохнул Спиридон, и присмиривший сын, отмахнув с глаз смоляной чупрын, смотрел на батю во все глаза, слушал, стараясь не обронить в воду даже малого словечушка; даже грести перестал, отметнув весла, с которых мерно и звонко в обступившей вечерней тиши падали в озеро капли. – На двор пошёл... а ещё путём не рассвело, ещё петухи не пели... гляжу: мать ты моя родная, чайка!.. чайка на тыну сидит. Да большущая, паря, адали баклан... – Спиридон невольно и опасливо глянул на летящую поблизости чайку. – Сидит, это, и вроде в окошко глазом зырк да зырк – кого уж там высматриват, бог ее знат. Кышкнул чайку с тына, а на душе морошно, неладно: ох, смекаю, не к добру ты прилетела в ограду, вещунна птица, ох, злую весточку на хвосте принесла... Сроду ить, паря, подле избы чайки не сидели... Ну, думаю, как бы наш дед не тово... – Спиридон замолчал, вздыхая и покачивая головой. – А потом закрутился-завертелся с этой картошкой, да и забыл. Отчаевали, это, значит, на картошку собрались, а я еще, помню, пошел в сенник тебя будить: пускай, думаю, сбегает сети проверит, может, хоть на одну варю за ночь налезло...

– Бестолку, три чебака сдуру залетели – и всё. Снимать надо сети, чо их зря гноить в воде...

– Ну и вот, значит... Пошел я тебя подымать, а тут старый-то и кличет меня в свой запечек. Надо, говорит, попрощаться, а то мало ли что. Дескать, сон видел лихой. И давай сон мне обсказывать: мол, щука приснилась, здоровенна така, цела кокорина¹⁹, ажно мохом взялась. Приплавилась будто бы к самому батяку, выпучилась на меня и смотрит, смотрит... а потом, это, по-человечьи молвит. Чо уж она баяла, говорит, не упомянул. Зовёт вроде, сманиват... Мне бы, мол, надо окстись крестным знаменьем, а силов нету, вся моченька моя вышла. А щука манит и манит... Я, говорит, наклонился маленько, она своим плеском-то²⁰ ка-ак даст, да и всего окатила водой, аж сердце захолоило. Окатила, это, с головы до ног, да и пошла себе тихонько в урёму... – Спиридон, хотя и не бог весть какой богомольный, но и не худо-божий, невольно перекрестился – витиевато махнул щепотью перед лицом и что-то коротко прошептал. – А мне недосуг его слушать, надо на картошку – коня уже успели запрягчи, девки на телегу уселись, меня кричат. Надо их увезти, а потом ишо и старуху Шлычиху в деревню утартать... Вот я ему и толкую: вечером, дескать, поговорим, дед... Везу старуху Шлычиху на мотоцикле и думаю: тронулся дед умом. А из деревни на картошку заехал, подкапываю, а душе нет покоя. Скребут кошки. Едва вечера дождался...

Спиридон сжал в кулаке бороду, пошиньгал её, одышливо вздохнул и, подтянув батик ближе к лодке, чтоб не болтался из стороны в сторону, покороче перевязал верёвку. Мельком глянул на старика, лежащего теперь на дне батика, укрытого Кольшиным пиджаком, ещё таящим в себе запах потной Тоськиной плоти. Пиджак сполз с лица, и в светлое небо, где запалилась ранняя звёздочка, глядел открытый глаз, из бездонной глубины которого уже выкатился живой синеватый свет. Опять испуганно перекрестившись, Спиридон ещё ближе подтащил лёгонький батик, натянул пиджак на стариковское лицо, потом велел сыну:

– Давай, Кольша, греби шибче, а то уж темнеет... Да-а, сколь не жить, а смерти не отбыть.

– А и вроде одыбал, на ноги встал, – с отцовской степенностью покачал головой сын, неспешно, осторожно, вроде как похоронно загребая вёслами.

¹⁸ Хрушкой – крупный.

¹⁹ Кокорина – бревно.

²⁰ Плеск – хвост.

Он впервые увидел смерть, вернее, даже не смерть, а покойника, который ещё вот-вот наставлял его на жизнь, и ему почуялось, будто он вдруг разом стал взрослее своих семнадцати лет, будто со смертью деда жизнь его как-то круто поменяется, да и во всей заимской жизни после деда что-то переменится. Что и как переменится, он не смекал, не угадывал, но уж по-старому теперь не будет. Ясно припомнились, будто прозвучали с закатного неба, последние, вроде и обыденные, но теперь освященные сокровенным смыслом дедовы слова, сказанные ему, правнуку, на берегу. Кое-что из сказанного дедом Кольша и поведал отцу.

– Сын, говорит, родится, Анисимом назови. В честь него вроде, – усмехнулся правнук.

Спиридон, заблудший в глухом и холодном тумане грустных своих поминаний, кручинных дум, слушал вполуха, иногда жалостливо косясь на сына, потом сморщился, проворчал:

– Ты, верно что, девке голову-то не морочь, а решил жениться, так женись. И правильно дед толковал, и грех тебе будет, ежлив обманешь. Дед зна-ал как жить, не наша беда... Сроду худого слова не молвил, и негордый был, незавидливый, вот и хворобы сроду не знал, вот и пожил... А уж здоровый-то был – нам ещё гоняться да гоняться за им. Не-е, здоровьицем его Бог не обидел: за восемьдесят, кажись, завалило, а денно и ночью на озере, так и не вылез из мокра. И зиму, и лето удил, и купался, паря, до ледяных заберегов... Вот и смертушку лёгкую принял. Спи теперь, деда, спи спокойно, отрыбачил своё, царствие тебе небесное... – Спиридон, обернувшись на солновсход, неожиданно осенил себя крестным знамением, и сын удивлённо выпучился, глядя на отца, который сроду не молился, не крестился. – Ой-ё-ё-ёшеньки... Такая вот жизнь: одне помирать, другие рожать... Ты смотри, парень, догуляешь, девка в подоле принесёт, сраму не оберёшься. На все озеро ославишься... Верно дед сказал: женись и не придуривай.

– Ладно, ладно, всё бы учили да учили... – отмахнулся сын.

– Вас не учить, так и добра не видать. Вы же теперичи по-путнему-то жить не хотите, все норовите по-своему, а своего-то умишка с гулькин нос, вот и колобродите. Нет послушать, что старики говорят. Они худо-бедно век прожили, ума нажили.

И внука Спиридона, и правнука Кольшу смерть старика хоть и опечалила, но опечалила легко, как может опечалить голый, насквозь проглядный березняк, где на потемневших от дождей ветвях трепещут на ветру остатние жухлые листья. Исподволь утешает и греет верная надежда, что минет вьюжная зима и по теплу опять народится клейкий младенческий лист, потом окрепнет и заиграет, засверкает под солнышком. Так же исподволь, в полноте неосознанно чувствуется, что и человек весь не помирает, не оставляет насовсем юдоль земную, а будто нарождается и вечно продолжается во внуках и правнуках. Но ежели покинувший землю и не приживается в грядущей родове, то хотя бы душа его упокоенная витает подле живых и, может, в лунных снах и солнечных видениях, в поклонных поминаниях наставляет родичей на ладную жизнь.

Нет, внук и правнук не убивались по деду ни сейчас, ни потом возле могилки, куда ускользнул гроб: чего уж там шибко-то горевать, волосы рвать, когда старик уже зажил чужой век, когда лежал под святыми и желанно поглядывал в мохово, – на могилки, что темнели крестами и тумбами по высокому берегу.

Но если смерть не удивила... пожил дед, дай бог всякому столь прожить и небо не коптить... то и внука, и правнука изумила дедова добыча: в отсеке серебрился подойник, полный на диво крупных, прозываемых хармаками и капустанами, меднобоких окуней, а рядом, не уместившись в ведре, полеживали и вовсе отменные – такие, каких за все лето пяток выудишь, так впору Николе Угоднику свечку ставить, потом на ранешний манер обрызгать озеро святой крещенской водицей.

– И как он изловчился столь наудить, ума не приложу, – снова да ладом дивился парень. – Ни-ичо не понимаю. С месяц уж рыба не берет...

– Да в октябре она сроду не клюёт, – кивнул отец. – До середины сентября ещё мало-мало тянет, а потом всё, как отрежет. Потом уж лёд встанет...

Спиридон, который взялся за удочку сразу, как отбился от материной титьки, сын его Кольша, ещё подростом перерыбачивший самого деда Онисима, – оба они лишь руками разводили.

– На такое, видно, место угадал, куда, может, раз в жизни и угадаешь, – смутно предположил Спиридон. – Либо уж подшаманил чего. А может, и Никола подсобил, Угодничек-то... Сроду никого не утруждал и на поминки решил сам наудить.

– На поминки-то, батя, маловато будет, – рассудил сын и вдруг, кинув весла, хлопнул себя досадливо по бокам. – Э-эх, дураки мы, дураки!.. Надо же было местечко-то приметить, маячок поставить. Вон дедово весло к его же бархаку привязать – и пусть болтается. А я бы поутрянке выгреб и сети туда переставил.

– Да-а, не смикитили мы с тобой... А с другой стороны, поставил – и шиш бы чего поймал. Тут, Кольша, дело хитрое... Может, ещё под час такой подгадал старик... Да и этого, поди, за глаза хватит. У нас поминальщик-то раз-два и обчёлся. Хотя... ежлив заимские-то все подвалют... Любили деда...

Удочки домовитый старик бережно смотал, обернул в чистенькую холстинку; берестяной чумашок из-под червей промыл в озере; и если бы Кольша не видел, лёжа с Тоськой под крутяком, как старик трусил в чумашок землю, то можно было предположить, что наживы там и вовсе не было. Рыба в ведре и в отсеке уже подсохла, из чего Спиридон вывел, что поймана была сразу после полудня, а значит, после полудня старик и помер, – не стал бы он, поди, сидеть сложа руки без дела и работы.

– Ох, сманило озеро, ох, сманило, – опять завздохал Спиридон. – Помню, раньше, как захворат маленько, все просил, чтоб я койку ловчей поставил, ближе к окошку, чтоб озеро видать. Да всё, бывало, закрутишься, завертишься, да и без памяти. А старик лишний раз и не скажет, не попросит, бедный... А уж стал из ума выбиваться, третиводни дак меня перепутал с батей моим, царство ему небесно: дескать, ты бы, Егор, на рожон-то не лез, а вписался в колхоз от греха подальше. Плетью обуха не перешибёшь...

– А дед-то мой... твой батя... мало пожил? – вдруг спросил Кольша, досель безразличный к своей родове. – Чо-то шибко уж рано помер?

– Добры люди подсобили... – сухо и отчуждённо отозвался Спиридон и с непроходящей, закоростевшей обидой поджал губы, но, немного помолчав, глядя в другую сторону от заимки, досказал: – Нас же у отца-то было ни много ни мало семнадцать ребят: пять девок да двенадцать парней. Дюжина почти... Это теперичи лишь тетки твои и зажились, да я шестой с имя. И те разбрелись по свету... Меня еще и в почине не было, когда отец отделился и уочевал в Укыр. Я-то уж, паря, в Укыре родился – укырский вроде. Село тогда большое было, волостное, на тракту стояло. Церковь Спаса белокаменна... – своротили фармазоны... Ну, как отец наш выделился – matka сказывала, царство небесно, – сперва шибко худо жили, лопотины оболкчись, и той не хватало. Но потом, это, вроде обжились. Тут и братовья уже в годы вошли, наравне с батей в работушку впряглись, да и девки не отставали. Да и зажили куда с добром, и нужды не знали. Коров да коней, всякой мелочи – полон двор... А тут сбросили царя-батюшку, власть переменилась, и пошли коммунисты крепких хозяев потрошить, да с нашего двора и зачали. Я-то не видал, я как раз у деда на заимке рыбу удил. Я у него частенько гащивал. А matka видала... Как нажитое стали переписывать и на телегу грузить, отец не стерпел да в сердцах и кинулся с топором на раскулачников. Ну, да там, видно, ребята крепкие подобрались, так отмузузили, что отец потом месяц кровью харкал. У деда на заимке и помер... Помню, просил меня, пока был в памяти, дескать, не бросай, Спирия, отца, на тебя вся надежда...

– И что, все отобрали? – зашебутился возмущённый Кольша.

– Подчистую! Все подмели, что горбом своим нажили. Тятя батраков сроду не держал. На покос другой раз помочи собирал, а как братовья мои старшие подросли, дак и без помочей управлялся. Робили от темна до темна – и в кулаки угодили. Да... Добрых хозяев тогда подмели метёлкой, болтуны да непути остались... Э-эх, тогда-сегды прикинешь: почо жил, почо живёшь, а уж и смертушка не за горами, и такая тоска долит, что хучь ревом реви. И на вас-то никакой надежи... Ну да ладно, чо уж теперичи... А мне тётка Матрёна сказала: мол, ещё днём на пару сидели... У ней парнишонка тоже чуть не утонул. Едва, говорит, успела выдернуть... Ох, манит озеро, ох, манит...

Когда лодка с дедовым батиком подчалила к дощатым мосткам, с которых заимские бабы черпали воду, по небу уже рассыпались белые искры – звёздочки среди ещё белёсого, но уже мутнеющего вечного моря; по тихим его водам и уплывала на незримой лодке стариковская душа; иные звёздочки срывались, опадали, точно прибитые морозом бледные ягоды, и одна из них, как почудилось Спиридону, погасла над самой заимкой. Вот и закатилась дедова звёздочка, вот и не стало вековечного рыбака, правнука архангельского мужика, в пору великого раскола, прикочевавшего сюда со своей суровой старой верой и срубившего на озерище некорыстное зимовье.

На берег прибежал чуть ли не весь заимский народ, молча вглядываясь в причаленную лодку. Тётка Матрена, хлюпая носом, утирая мокрые глаза углом запана, снова да ладом поминала:

– Днём, это, ещё так бравенько с им сидели на солнушке, судачили. И в уме, и в памяти был. Гляжу вроде одыбал старик...

Кинувшись к лодке, заголосила Спиридонова хозяйка, за ней подхватились и другие, и лишь мужики стояли молча, пристально вглядываясь в зачужевшее, заострённое восковое лицо древнего рыбака.

* * *

Разбежались Тоська с Кольшей зад об зад, и кто дальше улетит; парень ударился в гульбу, а где гульба там и драки с поножовщиной. И коротать бы тому век на тюремных нарах... не раз спутанного по ногам и рукам запихивали буйного в районную каталажку... да, слава богу, забрали во флот, который, на диво всей заимке, словно подменил ждановского последыша – ушёл варнак варнаком, по которому тюрьма горько плакала, а через три флотских зимы вернулся серьёзным, круто замужичившим парнем. Погулять бы самое время с поспевшими деревенскими девахами, ан нет, заныла, затомила душу старая любовь, и опять с Тоськой схлестнулся, которая надеялась, ждала, отбиваясь от сватов да игривых заимских рыбаков. Может, и слепились бы... уж и тёплое гнездо свили в районном селе, уж и Тоська от ждановского парня брюхо нагуляла... но не зажился яравнинский рыбак, загинул и уже не ведал, что Тоська нарекла сына в честь старика Анисимом, исполнила наказ старика.

Сомустили Кольшу после армии в рыбохрану, и не сказать, чтоб шибко ярился, гоня загрёбистых рыбаков, а все ж таки напоролся на злую пулю... городской браконьер отпотчевал с хмельного зла... а как уж там вышло, бог весть, но отыскали его, бездыханного, в оглохшей моторке, которая сиротливо болталась на озёрных волнах. Погребли Николая Жданова на заимке, подле прадеда, чтоб уж не расставались наперёд, а Тоська, что убивалась на высоком становом берегу, на глазах постаревшая, поплёкшая, вскоре, прихватив чадо, укочевала в город к сестре, оттуда завербовалась на строительство Байкало-Амурской железной дороги, да и сгинула с концами, и ни слуху ни духу. Сколь ни писали Спиридон со старухой в разные края, отыскивая бывшую молодуху... шибко хотелось внучонка поглядеть, Кольшино семя... но всё без проку.

После деда Анисима и его правнука, царствие небесное им, недолго зажила и прибрежная заимка Яравна; рыбалку наполовину сократили, потому что обезрыбело озеро, и рыбацкие семьи уочевали по деревням и селам. Теперь, когда минуло тридцать с гаком, даже бугорки от бывших изб и барачков затянулись сбежавшим с хребта звонколистым березнячком и осиничком, сиренево украсились чащобами иван-чая. Сгнили, завалились кресты на могилах, и Спиридон Жданов, уочевавший на другое озеро, малое, непромысловое, с трудом нашёл после долгой отлучки дедов бугорок, благо что хоть мета вспомнилась верная: торчащий искрошенным старческим зубом срезанный молнией дородный листвяк, с давно уж облезлой шкурой, выдубленный и выбеленный на озёрных ветрах. Комель порос мхом и брусничником, и ясно высыпала крупная тёмно-вишнёвая ягода.

Под старость и характером, и обличкой сивобородый Спиридон стал шибко походить на деда Анисима, разве что ворчливее и сумрачнее старика. Ну, да и время такое приспело, пропади оно пропадом, – фармазоны-верховоды спихнули страну и народ в срам, нищету и отчаянную гульбу, а сами под шумок растащили все, что с кровью и потом наживали отцы, деды и прадеды. Или уж светопреставление близ дверей, – скрёб Спиридон то морщинистую плешь, то реденькую, ковыльную бородёнку, – или уж чудо спасёт народишко русский. На чудо и осталась одна надежда.

В Яравну привёз его на легковушке «Ниве» старший сын Пётр, широкий, что поставь, что положь, пожизненно начальствующий в районном селе Сосново-Озерск, красномордый, одутловатый, с тяжёлыми синими мешками в подглазьях; видать, быстро ухайдакали сивку крутые горки, по каким скребутся вверх начальники – горюны-печальники.

Спиридон в чёрном пиджаке, что топорщился коробом, словно седёлка на корове, посиживал на переднем сиденье возле сына, который и вёл «Ниву». На заднем сиденье без умолку, наперебой поминая яравнинское житьё-бытьё, шумно вздыхая, теснились две мужние Спиридоновы дочери, приехавшие погостить к отцу-матери. Пожили городские гостеньки у родителей, сбегали по ягоды-грибы, навестили в Сосново-Озерске яравнинских подружек и, наконец, стали упрашивать Петра, чтобы свозил в Яравну. Может быть, и не решились бы... чего уж там, господи, смотреть, коль ничего не осталось от бедной заимки... но отец настоял, чуя, что когда ещё выпадет случай навесить дедову могилку, когда ещё сможет уломать Петра, чтоб отвёз на заимку. А тут девки прилипли к брату: свози да свози, тот и не смог отказать городским гостенькам.

Лишь миновали былую поскотину, мягко покатали по замуравевшему просёлку... А ведь улица была, вдоль и поперёк исхожена, испета и оплакана... сёстры запричитали, уставившись в окошки, за которыми уплывали и обхлёстывали машину тонкие осинки и берёзки. А когда миновали свою бывшую усадьбу, ныне цветущую сиреневыми кустами иван-чая, сёстры в голос завыли. У Спиридона, как ни тужился, ни крепился, а тоже в глубоких, морошных глазницах засветились слёзы. Даже Пётр посерел опухшим, багровым лицом, и по набрякшим скулам запохаживали взад-вперёд тугие желваки; задёргался, точно в тике, правый глаз, и тяжелее набухли синеватые мешки под глазами. Он крепче ухватился за баранку, злее и настырнее уставился в стекло, за которым вырастали миражами яравнинские избы и бараки, а подле счерневших листвяничных венцов бесплотными тенями маячили рыбаки, уочевавшие с озерища или, как дед Анисим, давно уже отчалившие к засиневшим осенним небесам.

На скалистом берегу озера спешили. Вышли гости, потыкались туда-сюда среди чащобного березнячка и осинничка, пошарахались из стороны в сторону, запинаясь о притаённые в белёсом ковыле полусгнившие кресты и тумбочки, и лишь по обломанной листовничной сушине... она неожиданно озарила Спиридонову память... отыскивали могилку деда Анисима. Сестры, от роду мокроглазые, жалостливые, опять дружно заголосили. И вопили даже не по своему прадеду... помнили его мутно, ощущением сухого, тёплого покоя и ласки... они плакали все по той же родимой заимке, где до обидного быстро пролетело раздольное лесное и

озёрное малолетство, где осели, поросли наглухо былём и ромашкой, словно канувшие заимские дворы, наивные и блажные девчоночьи мечты. По себе, как и бывает на могилках, плакали и причитали сёстры.

– Ну, хва, девки, хва, – сердито осадил их отец, которому вопли дочерей болезненно щемили изношенное сердце. – Могилку прибирайте. А мы уж пойдём с тобой, Пётр, крест вырубать.

– Сказал бы в Сосновке, я бы железную оградку заказал, и тумбочку бы мигом сварили, – проворчал Пётр, закуривая вторую сигарету подряд.

– Да уж крест срубим, и то ладно, – досадливо отмахнулся Спиридон.

Утихомирившись, просмотркавшись в платочки, отчего нежно заалели кончики носов, сёстры начали хлопотливо прибирать могилку: с корнем повывёргивали мелкие осинки и берёзки, выпололи траву, оставляя на взрыхлённой земле пучки ромашки. Спиридон долго маялся с листовничным крестом, вырубая под «ласточкин хвост» пазы для перекладин. Пётр только мешал, лез под руку, опахивая отца табачным чадом... но худо-бедно сладил мужик крест о семи концах; и, когда врыли его поглубже в обихоженный девками бугорок, на двух затёсанных поперечинах выскребли ножом мало-мальску надпись: дескать, здесь улёгся на вечный покой пожизненный рыбак, честный труженик Жданов Анисим Мартемьянович, ста трёх лет от роду. Господи, упокой его душу.

Ближе к вечеру сели помянуть, достав из машины блины и брусничный кисель, приладив возле свежего креста рюмку с водкой и пару окуней горячего копчения. Пётр хотел отпотчевать деда Анисима ломтём жирной пеляди, но отец велел положить окуней-земляков, поскольку про рыбу-пелядь, запущенную и разведённую в озере лет пятнадцать назад, покойный и слыхом не слыхивал.

Несколько раз неловко, отвычно перекрестившись, Спиридон прошептал то, что всегда было на слуху:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, упокой душу раба Божиего Анисима и прости его прегрешения вольные и невольные... Ну, с Богом. Помянем. Царство тебе небесное, деда... Все там будем рано ли, поздно ли... – Спиридон поднял гранёный стаканчик.

Пётр, выпивший охотно, но тяжело, сквозь зубы, весь переморщился-перекосялся и стал торопливо закусывать.

– С этой работой всю гулянку забросил, – пошутил он и тут же налил себе наособинку и выпил. – Уф!.. Крепкая зараза! Так и пить разучишься.

– Оно бы и ладно, – сердито буркнул Спиридон, – хошь здоровье бы сберёг. Оно ить входит золотниками, а выходит кулями... Ты, паря, на выпивку шибко-то не налегай – чай за рулём... А дедко-то наш сроду винцом не баловался, – Спиридон усмешливо глянул на рюмку, умощённую возле креста. – И табачишшем рот не поганил. Одно слово, старовер... Вот и век ладно прожил...

– Да-а-а... – закурив сигарету, жалостливо протянул сквозь дым Пётр, – долго дед жил, а доброй жизни не видел. В каких штанах всю жизнь ходил, в тех и помер. Кроме рыбы, ничего путного не едал.

Спиридон покосился на сына, хотел что-то сказать поперёк, но смолчал, уставился в озеро, где похаживали и пошумливали возле берега зеленоватые пенистые валы. Тут же под самым берегом, свившись в мельтешащий клубок, с визгом бились о воду чайки – значит, поверху плавилась мелкая сорожка, а возле, охочие до нее, паслись, конечно же, крупные окуни и щуки.

– Нет, знали наши старики, где селиться, – оглядывая озёрное раздолье, подумал вслух Спиридон, – знал деда, где жить. Где ещё такое местечко сыщешь. Пазуха Божья... И тайга богатая, и рыбы полон... А уж места красивше, ей-бог, сроду не видал. Э-эх, жить бы да жить.

– Везде, батя, хорошо, где нас нету, – усмехнулся Пётр.

– Оно, конечно, хорошо, где вас, варнаков, нету, – отозвался Спиридон.

После деда заодно решили помянуть и убиенного Николу...

– Надо Кольшу поискать. – Спиридон, кряхтя, встал на ноги, оглядел забытое-заброшенное кладбище. – Где-то ближе к скале хоронили...

С горем пополам по ржавой звёздочке нашли сварную тумбу, утонувшую в осиновом подросте и дурнопьяной траве; карточка под стеклом добела выгорела на солнопечном угреве, суриковая надпись выветрилась, вымылась осенними дождями, и уж попробуй разбери, кто там лежит под сплетением древесных кореньев.

– Тоська-то красавица была, как сейчас помню, – грустно улыбнулась Спиридонова дочь.

– Да и наш куда с добром, подстать Тоське, – вздохнул Спиридон.

– Парни по ей с ума сходили, а она по Кольше убивалась. Жили бы да жили – такая пара. Если бы...

– Если бы да кабы – во рту бы выросли грибы, – жёстко осёк Пётр сестру. – Что Тоська, что наш, оба непути, к жизни неприспособленные. Пара сапог... Да наш ещё горячий, запошный... Все равно бы толку не было.

– Пошто? – заупрямился Спиридон. – Парень выгулялся, остепенился после флота...

– И какого хрена он права качал перед теми рыбаками?! – осерчало сплюнул Петро. – Жалко стало вонючего окуня... Пропади он пропадом...

Чтобы не тянуть пустопорожние разговоры, Спиридон вспомнил далекое:

– Но рыбак-то Кольша смалу был – всем рыбакам рыбак. За то и любил его наш дед. Вот теперичи рядом и полёживают. Сошлись рыбаки навечно.

Помянув Николу, пожалев и его несчастную зазнобушку, вернулись к деду Анисиму, молча постояли возле свежего, будто светящегося среди зеленоватой лесной тени, отмашистого креста. Спиридон вдруг суетливо стал собираться домой, заторопил дочерей, которые хотели ещё пройтись по мёртвой заимке. Похоже, ему, вдруг пуще остаревшему, сполна взявшему свои законные лета, больно стало от поминаний, как и горько... горше не придумаешь... было видеть заросли осинника и березняка там, где алела в зорях деревянная церквушка, окружённая избами, где прошла вся его добрая жизнь.

Перед тем как залезть в машину, Спиридон огляделся кругом и, перекрестившись, неведомо к кому обращаясь, не то к озеру, не то к заимке, не то к сыну с дедом, – прошептал:

– Ну, прощайте, даст ли Бог ещё свидеться, не знаю. Прощайте да не поминайте лихом.

1987, 1996, 2004 годы

Утром небо плакало, а ночью выпал снег

Рассказ-притча

*Уже бо и секира при корене древа лежит:
всякое бо древо, еже не творит плода добра,
посекаемо бываает и во огонь вметаемо.*

Евангелие от Матфея (3: 10)

По городу брёл старик. Желтоватое лицо его замерло в ласковом, горнем покое. Глаза водянисто синели, слезились, словно мироточили, и безмолвно, отрешённо смотрели на город из-под лопнувшего козырька чудом выжившей тёмно-зелёной, с жёлтым околышем, казачьей фуражки.

Старик, в церковном приходе дед Егор, вышел из храма, где накануне соборовался, а на заутрене исповедался, причастился Святых даров, и ныне светилось иконным ликом его усохшее и костистое лицо. Сунув фуражку под ремень, коим по старинке перепоясывал рубаху, где устало светилась медаль «За отвагу», запахнул чиненое-перечиненное линиялое серое пальто, трижды перекрестился, трижды, касаясь перстом оземь, поклонился крестам да куполам и, прошептав Иисусову молитву увядшими, синеющими губами, малое время посидел на студёной каменной паперти среди убогих. Но не христарадничал, как обычно, не просил милостыню Христа ради, а лишь присел, чтобы после заутрени утихомирилась дрожь в коленях; затем встал, с хрустом разогнул немеющую спину и побрёл, томительно шаркая подошвами порывевших яловых сапог с морщинами на голенищах. И бог весть, куда поковылял на измождённых, сношенных ногах старый казак, в душе коего ещё звучала ангельским эхом просительная ектенья: «Христианския кончины живота нашего, безболезненны, не постыдны, мирны и доброго ответа на Страшнем Судиши Христове просим...» Уже случилось, убогий старик напрочь забывал халупу, по самые ставни вросшую в землю, где коротал век у сестры-бобылки, и лишь чудом подворачивался поводырь, который доводил его до жилья. Нынче никто не подворачивался, и старик брёл неведомо куда, словно в грядущую вечность.

Городище заволочла пепельная мгла; небо, набухшее мороком, тяжело и сумрачно лежало на крышах каменных домов, и лишь призрачно светились в поднебесье купола Крестовоздвиженского храма. Накануне Дня Казанской иконы Божией Матери было тепло и грязно – перед заутреней моросил дождь. Но старик помнил, что в его казачьей станице, давно уже сгнувшейся, старики судачили: ежели на Казанскую небо плачет, вслед за дождём поспеет снег.

Осеннюю грязь месили сотни сапог и полусапог, озабоченных и суетливых. Ногастая, похожая на болотную цаплю, долговязая девица прыгнула из парикмахерской, сослепу ткнулась в старика, испуганно шарахнулась и оторопела, заглянув в разверстую стылую могилу. Но тут же очнувшись, когтистыми пальцами манерно помахала возле брезгливо сморщенного носа и всунулась в тупорылую заморскую машину. Старик хотел вымолвить... доброе слово колыхнуло тёплым дыханием запавшие губы... но не успел и теперь виновато глядел вслед машине, обдавшей его вонючим жаром.

Старик брёл по городу; авоськи и баулы испуганно обтекали его. Под стариковское пальто поддувал сырой ветер; он же порой зло теребил и вздымал по-младенчески пушистые и насквозь проглядные инистые волосы, обнажая овраги висков, какие бывают у лошадей, когда они падают в изнеможении.

...Осенью сорок первого волочились солдаты, отходя в российскую глубь по грязным и топким, разбитым дорогам. Пала в обозе надсаженная лошадь, и молоденький лейтенант,

матерками отгоняя жаль, своеручно пристрелил коня; и старик – тогда ещё не мужик и уже не парень – глядел на палую лошадь сквозь слёзную заволочь, ибо рос в казачьей станице при конях и служил в обозе. Потом нагляделся на смерти; и слезы, пролившись в душу, оледенели, и лишь послевоенные жаркие молитвы растопили лёд, и слезы пролились в душу тёплым дождём, и любовь, робкая, словно майские травы, взошла в измаянном казачьем сердце.

* * *

По городу волочился выживший из ума облезлый пёс, которого хозяин взашей выпихнул со двора; вначале увёз на городскую свалку, где среди пёстрога людского хлама шатались... тени из преисподней... тощие одичавшие псы с измождённой сукой – обвисшее, докрасна воспалённое, истерзанное сучье вымя тащилось по мусорным холмам. Хозяин вышел из чёрной, слепяще-сияющей легковушки и надтреснутым, прерывистым голосом поманил пса: «Дружок!..», и собака сползла с заднего сиденья, присела подле хозяина, а тот закурил, брезгливо косясь на свалку. «Пристрелить бы...» – вслух подумал хозяин, потом нервно кинул сигарету, растёр сапогом и, хлопнув дверцей, быстро поехал. Пёс, ещё ничего не понимающий, заковылял было следом на остаревших лапах, но тут же, запыхавшись, высунув красный парящий язык, остановился и долго смотрел в ту сторону, где пропала машина с хозяином. Друг не понял убогим собачьим рассудком, отчего хозяин оставил его на свалке, а чтобы не рвать душу горькими думами, поплёлся в город.

Вскоре, отощавший, кожа да кости, измученный, лежал у калитки, возле богатого подворья, кое сторожил весь свой собачий век. Когда хозяин заметил Дружка, то в сердцах, уже не церемонясь, погнался от калитки, безбожно кляня старую псину-пропасть. Пёс, выстилаясь по земле, ещё полз к хозяину, в котором души не чаял, и даже хотел облизать пыльные сапоги, виновато и заискивающе глядя в остуженные хозяйские глаза. Но хозяин прихватил суковатую палку и отогнал Дружка подальше от калитки, за которой носилась и гремела молодым лаем чёрная немецкая сука.

И пёс понял, что, верно и любовно отслужив собачий век, больше не нужен родным людям; а посему, не чая тёплой похлёбки, мягкой подстилки, хозяйской ласки, поплёлся, не ведая куда и зачем.

* * *

По Большой улице, прозванной Бродом, тупо и медленно, сплошным и грозным потоком, словно в атаку, ползли машины; хищно сверкали нездешней, несвычной пестротой, сыто, но жадно урчали; и колыхался над ними тяжкий угарный гул. Но для старика уже всё стихло, и вместо уличного гула из пепельной, миражной бездонности... из-под церковного купола, с голубых небес... сухим и тёплым ладаном наплывали покойные, ясные звуки и, похожие на далёкий-далёкий перезвон колокольный, грели стариковскую душу.

Такие же небесные звуки хлынули на русских солдат, когда со скрежетом распахнулись ворота немецкого лагеря – в синюю небесность, словно в церковный купол; и шли они, равнодушные к жизни, – может, не люди, а светлые тени, оставившие плоть позади, где бездымно темнели печи, – редкие зубы в провале старческого рта, черные и голые деревья на пожарище. И шёл среди теней старик – тогда ещё мужик, но уже присыпанный старческим пеплом...

* * *

Старый пёс... теперь уже бездомный, бродячий... плёлся по городу, припадал на ослабшие хворые лапы и, робко, просительно, с вялой надеждой заглядывая в подворотни старгородских одряхлевших усадеб, высмотрел, как, чужеродно выпячиваясь из унылой ветхости, степенно похаживал дог, под гладкой, лоснящейся кожей которого дыбились, властно играла упругая злая сила.

Ветхому псу привиделось дальше, гаснущее в сумраке лет, когда он, молодой и матерый, но смиренный и заласканный детвой, без клича оборонил хозяина, рискуя в прыжке угодить на зловеще сверкнувший нож. И пёс был счастлив редкой удаче – спас хозяина, выказал собачью преданность; и он бы захлебнулся в предсмертном восторге, если бы, заслонив друга, пал наземь, истекая дымящейся кровью.

Дог настороженно замер у чёрных тесовых ворот, двускатно крытых древним драньем. А тут из калитки, лёгкая, словно одуванчик, вприпрыжку выбежала светлая девчушка и, хлопая ковыльными ресницами, уставилась на печального старого пса. Потом улыбнулась... посреди осенней мороси желтовато засветилось летнее солнышко... залепетала, пришепётывая, на детском поговоре, сунула псу надкушенный пряник, и пёс бережно взял угощение, прижал губами, но не сглотил – от удивления, робости и смущения. Девчушка присела на корточки, погладила пса, всё так же лепеча... шелестели на тихом ветру полевые цветы и травы... и пёс неожиданно улёгся перед ней, положил морду на лапы и блаженно прикрыл слезящиеся усталые глаза.

Долго ли, коротко ли тянулось собачье блаженство, но из калитки торопливо вышла женщина – похоже, мать девчушки, – ярко наряженная, но раздражённая, и презрительно глянула на пса, потом схватила дочь за руку, прошипела:

– Ты что, хочешь заразу подхватить?! А ну, пошла отсюда, псина!.. помойка ходячая! – Замахнулась на пса и ворчливо сказала дочери: – пошли скорей, а то опоздаю из-за тебя...

Подволакивая захныкавшую девчушку, женщина засемила по старой улице, нервно стуча острыми «копытами» в деревянный тротуар. Тем временем дог, враждебно шурясь, со зловещей неторопливостью, вкрадчиво пошёл на бродячего пса, и тому ничего не оставалось, как уносить лапы от греха подальше.

* * *

...Людская река выплеснула старика к торговым рядам, где осинными гнездами лепились лавки, где торговали нерусским, режущим глаза, а чем – старик, впавший в станичное отрочество, уже давно не разумел древним разумением. И раньше, вглядываясь в небеса, глядел сквозь пёстрые лавки, а ныне и подавно. Хотя вдруг удивлённо замер возле молодой цыганки с чёрными до жгучей синевы, текущими на плечи, густыми волосами, с ночными глазами, в омутной глубине которых вспыхивали искусом и гасли зеленоватые огоньки. Торговка скалила бело-пенистые зубы, потряхивала вольной полукрытой грудью и, весело заманивая покупателей, продавала медные нательные крестики с распятым Христом, что свисали с руки на блестящих цепочках. Парни в толстых мешковатых штанах мялись подле цыганки, весело и бойко приглашали в ближний трактир. Торговка, играя плечами, постреливала сумеречными глазами, и с губ ее, пухлых, вывороченных наружу, не сползала сулящая улыбка. Но когда парни со смехом и гомоном подались прочь, осерчавшая цыганка плюнула им вслед, замешав плевков на забористом русском мате. Тут же в сердцах набросилась на старика:

– А ты чего здесь торчишь, старый...?! – Цыганка ввернула словцо, от коего вянут, словно прибитые инеем, даже крепкие мужичьи уши, и старик, хоть и не обиделся, всё же пошёл от

греха. Учув стылый ветер, нахлобучил древнюю казачью фуражку, кою давно уж теребил в руках.

* * *

Подле «Рюмочной» старик загляделся на тощего белобрысого хрестарадника, что заунывно играл на гармошке и сипло, слезливо пел в свисающие подковой, до рыжа прокуренные казачьи усы:

...Мне во сне привиделось,
Будто конь мой вороной,
Разыгрался, расплясался,
Ой, разрезвился подо мною...
Ой, налетели буйны ветры,
Да с восточной стороны,
И сорвали чёрну шапку
С моей буйной головы...
А есаул догадлив был,
Он быстро сон мой отгадал,
«Ой, пропадёт, – он говорит, —
Твоя буйна голова...»

Старик чудом вспомнил: на престольный праздник в память святого мученика Георгия Победоносца батька-атаман, бывало, выкатывал бочонок браги, а казачки накрывали столы посередь станичного майдана, и отец, голосистый певень, певал про буйную головушку. Старик узрел в сизых небесах и мать родимую: притулилась с краю печально поющего застолья; увидел и себя, малого, – оробело жмётся к материной груди, опасливо косясь на родичей, станичников, дивясь на поющего отца. «Чёрного ворона» выплакивал хмельной отец, бывший белый казак; стонал, обнимая кровного брата, бывшего красного казака, коего чудом не засек под городом Читой, когда свершилось святое провиденье: «Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо; и восстанут чада на родители и убьют их...»

Пел отец, незряче глядя в заречные поля... слезы туманили глаза... пел, подперев ладонью бедовую головушку, вороную, ныне до срока усыпанную стылым пеплом:

Под ракитою зелёной,
Русский раненый лежал,
Над ним вился чёрный ворон,
Чуя лакомый кусок...

Ты не вейся, чёрный ворон,
Над моею головой,
Ты добычи не добьёшься,
Я казак ещё живой...

Окружённые домочадцами и станичниками, братья гуляли в ограде, вольной, поросшей зелёной щетиной и цветами-желтырями; братья... крутоплечие, приземистые карымы²¹... скорбно пели под раскидистой черёмухой, осыпающей белый цвет на столешню, крытую серой

²¹ Карымы – русские, чернявые, помешанные с тунгусами или бурятами.

льняной скатертью, на которой не красовались, как бывало, щедрые наедки и напитки, но сиротливо ютились печёные картохи, меднобокие караси, лишь сочно зеленели пучки вешней черемши да голубовато мерцала в крынках соковица²². В досельную пору к Егорию Тёплому казаки ловили петлями косачей либо глухарей, когда у птиц свадебный ток, а сейчас не до косачей, глухарей; ныне казаки гадали, как выжить после великой порухи, как душу утихомирить после кровавой смуты.

С высокого станового берега Ингоды, где вальяжно раскинулась станица, где на отшибе желтел дом отца, виделось, как в долине, изогнутая луком, серебрилась полуденная река, тающая в зеленовато-буром сумраке таёжных хребтов. Братья, на святого Егория Победоносца обрядившись в казачью справу, пристегнув шашки, пели сумрачно, с заведомой тоской вглядываясь в ингодинскую долину, в синеющие заречные хребты; братья чуяли: завтра белого казака отпотчуют свинцом, прислонив к тюремной стенке, послезавтра красного казака расказачат и раскулачат, под конвоем пошлют в Черемховские угольные копи и вместо шашки всучат кайло.

Но се завтра, а ныне – Егорий Храбрый, чьим святым имечком и окрестили малого; а когда подрос Егорша, дед ста лет плёл внуку казачью старину:

– У Ягория, света, Храбра, по локоть руки в красной замше, по колено ноги у чистом срябре, а во лбу-то, паря, солнце, во тылу месяц, по косицам звёзды переходжие... А в русском царстве, Христовом государстве обрятался подле озера Змей Поганый, что поядал дявиц русских. И выпала лихая доля деве подвянечной; взмолилась дева Иисусу Христу и Мати Марии да святым угодничкам, и по вере слятел с нябес Егорий Храбрый на белом коне. Ох, и оробел же, паря, Змей Поганый, стал лизать конски копыта, а святой воитель заколол яго казачьей пикой. О!.. С досюльных времян, паря, и носится Ягорий Храбрый по бедам – Побядоносец же... Юрию... он же Ягорий будеть... дадяны ключи от неба и земли, и святой атаман отпирает небо, даеть волю солнцу, а звёздам силу. Так от, Ягорша... Ягорий Вешний землю отмыкат, рысит по лясам на белом коне, зверьми повелеват. Что у волка в зубах, то Ягорий дал... Ягорий Храбрый и от волков скот обярягал.

Вспомнились старику отроческие потехи-утехи: перед выгоном скота на вольный выпас Егорша шатался с казачатами по усадьбам и под шергунцы²³, трензели²⁴, бубны и барабанки распевал «Батюшку Егория»:

Мы ранёшенько вставали,
Белы лица умывали,
Полотенцем утирали,
В поле ходили,
Крясты становили,
Крясты становили,
Ягорья вопили:
«Батюшка Ягорий,
Спаси нашу скотинку,
Всю животинку,
В поле и за полем,
В лясу и за лесом.
Волку, медведю,
Всякому зверю —

²² Соковица – березовый сок.

²³ Шергунцы (шаркунцы, шеркунцы) – бубенцы, издающие глухой звон, прикрепленные на ошейнике к лошади, иногда ошейник крепился к самому хомуту.

²⁴ Трензель – удила, состоящие из грызла и двух колец, за которые трензель крепят к щёчным ремням уздечки; создан для того, чтобы упростить управление лошастью.

Пень да колода,
На раменье дорога.
Тётушка Анфисья,
Скоре пробудися,
В кичку нарядися,
Пониже окрутися,
Подай нам по яичку,
Подай по-другому.
Первое яичко —
Ягорию на свечку,
Другое яичко —
Нам за труды
За ягорьевские.
Мы ходили, хлопотали,
Трое лаптей изодрали

Хозяева выносили мзду: яичек, пирожков и шанюжек, и с поклоном подавали казачатам, а уж казачат шукали матери: куда огольцы-сорванцы уметелили?.. Опять пошли кусочничать, побируши-помируши!

А юнцом Егорша, прости, Господи, грешного, подсмотрел на рассвете Юрьева дня: станичные девы убрели за поскотину и на елани²⁵ средь березняка и осинника умывались утренней росой, а иные, озорные, дерзкие, нагими валялись на росной траве, дабы стать пригожими, словно утренняя зорька, чистыми, словно юрьева роса. А на особицу парни... суеверы, прости им, Боже Милостивый... купались в росе с надеждой быть здоровыми и сильными, яко юрьева роса.

В престольную заутреню семейство усердно молилось в белоснежной Георгиевской церкви, где красные безбожники грозились, сбив кресты, открыть клуб и читальню. После Божественной литургии, возле иконы Святого мученика Георгия Победоносца, кою возложили на аналой, батюшка отслужил молебен покровителю русских воителей: «О всехвальный, святой великомучениче и чудотворче Георгие! Умоли Человеколюбца Бога, скорый помощниче всех призывающих тя, да не осудит нас, грешных, по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости и подаст православному Отечеству нашему и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление; да укрепит государство Российское непременимым миром и благословением; изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати престолу Господа славы. Аминь». Слушая попа, казаки мучительно гадали: какое воинство славит батюшка, красное иль белое? У красных верховодят жида-хриstopродавцы; белые предали царя-батюшку, помазанника Божия, вынудив отречься от царского престола, и воевали не за Бога, царя и Отечество, а за республику, да и в сговоре с чужеземцами, что зорили Русь, губили народ русский. Эх, куда ни кинь, кругом клин...

Выйдя из храма, казаки подали милостыню христарадникам, особо слепому, вопиющему:

– Во святой зямле, православной,
Нарождается жаланное детишо
У той ли премудрыя Софии;
И нарякает она по имени

²⁵ Елань – лесной луг.

Своё то детишо Гяоргий,
По прозваньцу Храброй.
«Соизволь, родима матушка,
Осударыня, премудрая София,
Ехать мне ко зямле светло-Русской
Утверждать веры христианские».
И дает яму родимая матушка,
Она ли, осударыня премудрая София,
Своё благословение вяликое.
Примает он, Гяоргий Храброй,
Ту землю светло-Русскую
Под свой вялик покров,
Утверждает веру крящёную
По всей земле светло-Русской...

После богомолья колокола гулко и звонко славили Бога в небесах, и семейство прошлось по широкому майдану, где на Егория Вешнего ныне, как испокон казачьего века, пестрела ярмарка: торговали шерстью, кожами, седлами, сбруями и хомутами. Отец посудачил с казаками: де что нынч сулит Юрьев день?.. На Руси два Егория: Зимний холодный и Вешний голодный, а в лихолетье, когда погибелью и разором, словно кровавым ливнем, окатила Забайкалье война, и вовсе хоть зубы на полку. Да и рысит ныне Егорий на белом коне – не сошёл снег с полей, жди неурожай, вот ежели бы на вороном скакал... Да и не пала ночная роса; а бывало, на Егория роса – добрые проса и не треба коням овса. Егорий Вешний отпирает росу, а посему мужики и казаки выгнали коров на выпас до солнца, пока не сошла Юрьева роса; старики толковали: мол, удоистые будут коровёнки, и хворь не страшна.

Слышались старику дальние казачьи голоса:

– Сена-то, паря, хватат? До Николы дотянешь? Браво ж накопил...

– Кого, паря, браво?! – казак досадливо чешет затылок, сдвинув фуражку. – Труха осталась... Снег путём ня сошёл, на голую пажить скота выгнал...

– Копытят... – усмехается в смолистую бороду домовитый казак. – Верно господа старики баяли: сена достаёт у дурня до Юрья, а у разумного до Николы... А ярицу-то посеял? Говорят же: сей, пока чярёмуха цветёт.

– Не-е, паря, рано. Студёная земля, не отошла. Ночью – заморозки...

– Оно и ладно. Старики же толковали: в ночь на Ягорья пал мороз – хлеба жди воз, и под кустом овёс.

– Ага, жди... Сявец не уродит, коли Бог ня зародит.

Старик вспомнил: до престольного застолья братья по древлеказачьему чину сажали его, трёхлетнего, на гнедого коня. Вроде в казаки верстали... Накануне мать из старенькой, сумеречно-зелёной юбочки скроила и сшила гимнастёрку, на далембовые шаровары нашила жёлтые лампасы, отец смастерил жёлтые погонишки, а дед ста лет – деревянную сабельку. Об одном малый горевал, сапоги не справили, в сыромятных ичижонках сажали на коня.

Мать, синеокая дородная, по случаю праздника в радужном семейском²⁶ сарафане, в цветастой кичке, вышла с Егоршей на высокое резное крыльцо и сквозь слёзную мглу оглядела людный двор. Отец, белый казак, держал под уздцы оседланного гнедого коня, а Егоршин крёстный, красный казак, принял малого из материнских рук, подкинул к сизым небесам, занялось детское сердчишко, словно на троицкой качели, и отпустило, когда малый очутился в седле. Ухватившись за луку седла, глянул вдаль с птичьей вышины, и глаза обмерли в

²⁶ Семейские – староверы Забайкалья.

диве: далеко и вольно отпахнулась казачья вольница: причудливо извивалась в зеленеющей долине серебристо голубая Ингода, синели далёкие таежные хребты, и небо в перистых облаках, где кружился одинокий коршун, казалось близким, рукой подать. В заокольном березняке кукушка куковала, Егорше век отмеряла. А над серебристой драновой крышей сновали ласточки – со дня на день вешний гром загремит.

Станичники – родичи отца и матери – придерживали и коня, и малыша. Крёстный натянул на малого свою линялую фурагу с жёлтым околышем, но фурага сползла малому на нос. И тут дед ста лет, махонький, седенький, хлопнул себя в лоб: «Совсем, паря-девка, из памяти выбился. Дырява память...» Посеменил в курень, откуда торжественно вынес белую мерлушковую папаху с малиновым верхом, самочинно сшитую как раз Егорше по голове. Подал крёстному папаху, когда тот выстриг у малого клочок волос и вручил матери, чтобы утаила на божнице.

По доброму-то, как встарь чинилось посаженье чада на коня, надо бы с благословения батюшки обвести лошадь вокруг храма, да чтоб батюшка отчитал молитву святому Егорию, небесному заступнику казачонка. Но... выюжными ветрами налетело лихолетье, и нынешняя власть... хриstopродавцы... не жалуёт казачество.

Станичники присматривали: схватится за гриву – долго пуля не возьмёт, шашка не смахнёт, а захнычет, повалится с коня – рано быть убиту. Егорша и не повалился, и за гриву не уцепился, отчего дед ста лет вздохнул горестно: «Не казак растёт...», но промолчал.

* * *

Город сошёл с ума, обратился в сплошную барахолку, прозванную «шанхайкой», где назойливо, крикливо, лукаво торговали азиаты и китайцы; повально кинулись продавать и перепродавать турецкое, китайское барахло и русские, словно им негде работать, словно умолкли фабрично-заводские гудки, а в губернских полях вросли в землю ржавые трактора и комбайны.

Старик постоял возле широкой деревенской бабы, торгующей картошкой, моркошкой, свёклой, капустой, и опять дивом дивным узрел станицу детства и отрочества, хотел было перемолвиться с бабонькой, дескать, утром небо плакало, а ночью Господь зимушку пошлет. Но та испуганно отпрянула от старика и осенила лоб незримым крестом, почудилось жёнке, что дохнула на неё холодная пустоглазая смерть, которая нынче пошла бродить по городу. Но бабонька тут же и спохватилась, сунулась под прилавок и выудила творожную деревенскую шаньгу, затем, подумав, прибавила к ней брусничную. Гостинец, прозываемый в деревне подорожником, уложила в пакет, а коль старик стал отказываться от угощения, то и сунула ему в широкий полуоторванный карман пальто. Старик поклонился бабе и, перекрестив её, прошептал: «Милость Божия, Покров Богородицы, молитвы святых тебе, добрая душа...»

В торговых рядах гремела и билась в припадке шалая музыка, а уж на каком говоре пели, старик не разумел. Лишь горечью окатило фронтową душу, когда в безумии звуков чётко прозвучало: «А на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе...» Раньше одичалая музыка напоминала старику лай и рычание озверевшей, кровожадной своры собак, что сопровождали пленных русских солдат и рвались с поводков, дабы растерзать полуживых людей. Но сейчас старик не слышал магнитофонного рыка и лая; глухим нимбом обволакивали его бездумные, пахнущие ладаном и могильным покоем, небесные звуки.

По городу брёл старик, седой, измождённый, и когда ветер распахивал пальто, изветшавшее, словно простреленное, грубо, внахлёт зачиненное, то взблэскивала фронтová медаль на жёваном отвороте древнего пиджака, надетого поверх исподней рубахи.

Неожиданно старик свернул в сумрачную арку; утомлённо припал к грубо отёсанной каменной стене, и острые шербины впились в щёку, поросшую реденьким седым волосом. Старик оглядел арку, похожую на могильный склеп, и на глаза ему попался перевернутый вверх

дном решётчатый ящик из-под вина – видимо, кто-то здесь уже переводил сморённый дух. Старик присел на ящик, откинулся к стене и прикрыл глаза тонкими, в синей паутине, дрожащими веками. Бог весть, долго ли тянулось обморочное забытё, но неожиданно старик ощутил, что к рукам его, безжизненно опавшим на колени, к холодному лицу, прикоснулось ласковое, тёплое, влажное, до сладостной боли родное, приплывшее в город из далёкого ингодинского малолетства. И опять увиделось дальше, словно солнечный луг явился в предснежном сумрачном небе...

Средь высоких лиственей, позолочённая утренней зарей, кондово рубленая церковь... от купола тёплый желтоватый свет... и стриженный большеголовый парнишонка бежит ромашковым лугом наперегонки с дворовым псом, мимо пасущихся коров и коней. Летит малый, не чуя ног, плещется в мираже, словно в струях речных, сверкающих на солнце серебристой чешуёй; а за рекой сенокосные луга, лебяжий березняк и зоревый сосняк, где, разложив на сером рядне некорыстные харчи, поджидает его мать, высматривает отец, прислонив литовку к сенокосному шалашу, укрывшись от солнца лопатистой, чёрствой ладонью...

Ещё боясь поверить, боясь спугнуть оживающее видение, старик не открывал глаза, вытягивал наслаждение, потом медленно отпахнул веки и по-детски солнечно улыбнулся – рядом посиживал такой же ветхий, как и он, осиротевший пёс, облизавший ему лицо и руки. Младенчески беззубая и бездумная улыбка тронула синеющие стариковские губы... закатный солнечный луч согрел восковое лицо старика... и, как бывало в детстве, старик неспешно и протяжно погладил пса, почесал за ушами, висящими, словно лопухи. «Ну, что, дружок, осиротел?.. Горе мыкаешь, горемычный. Голодный, поди...»

Вдруг вспомнилось далёкое, забайкальское: казак, знатный охотник в станице, обозлился на собаку – мало чуху и нюху, всю охоту пустила – и решил утопить в реке... отчего пожалел десять граммов свинца, старик забыл... и выплыл казак на стрежень Ингоды-реки, привязал к собачьему ошейнику камень да и кинул в багровую закатную рябь; но камень слетел... видно, в спешке худо обмотал бечевой... и пёс тут же подплыл к лодке; тогда осерчалый психованный казак... истрепал нервы на Германской войне... навернул собаку веслом, замахнулся другой раз, но не удержался и бухнулся в воду; и утонул бы... худо мужик плавал... но спасла собака: подплыла, чтобы хозяин ухватился за собачьи уши, и так с горем пополам и подчалили к берегу. О сём судачили казаки; почём купили, потом и продали...

Старик обнял бродячего пса за шею и вспомнил о подорожниках, что сунула в карман сердобольная деревенская баба; вспомнив, тут же и достал творожную шаньгу и протянул псу. «Кормись, дружок...» Пёс, подивившись, что старик ведаёт его кличку, бережно взял гостинец в зубы и, положив на землю, уставился на старика вопрошающим слезливым взглядом. Старик опять обнял бродягу за шею и, как в станичном малолетстве, прижался лицом к лохматой морде и, блаженно укрыв глаза, снова впал в забытё.

Разбудил его посвистывающий шёпот, откуда вырывался ломкий, куражливый басок. Старик очнулся, обрёл житейскую память и, кажется, догадался, что рядом целуются молодые. Они возились близко, за углом; слышно было: умолял и клялся парень, тяжело и порывисто дышала подруга... Не ведая зачем, старик поднялся с ящика, пошёл к молодым на одеревенелых ногах и стал молча смотреть влажно синеющими из потаённой глубины, удивлёнными глазами.

Молодые полусидели-полулежали на широкой садовой скамейке, ради греха и втиснутой промеж каменной стены и густых зарослей одичалой сирени. Прямо на земле, устланной жухлыми листьями, усыпанной сигаретными окурками и клочьями бумаги, торчали пивные банки. Молодые оторопели, словно явилось бледное, бескровное видение из тоскливого, замогильного мира; потом девушка зябко передёрнула крутыми плечами и, оттолкнув парня, села

прямо, натянула юбку на голые колени. Парень, синеглазый, бритоголовый, закурил сигарету и досадливо выжидаяще уставился на старика. А тот, каясь и виноватясь, вдруг ясно и живо увидел сына, убиенного в Афганистане, давно оплаканного и отпетого... Старик подошёл к парню ближе и, вроде погладить по плечу, потянулся ладонью, высохшей, мелко и часто вздрагивающей. Девушка испуганно качнулась, парень же оглядел пришельца от войлочных ботинок до седой головы стылмым и острым взглядом, затем процедил сквозь желтеющие фиксы:

– Топай, топай, батя!.. Здесь не подают.

То ли не расслышав, то ли не вняв просьбе, старик ещё стоял с протянутой рукой и негаснущей улыбкой, и вдруг парень покаянно опустил глаза, развёл руками:

– Прости, батя, ниче нету. Иди с Богом.

И старик, сопровождаемый бродячим псом, побрёл из глухого каменного дворика, заросшего голый, тоскливой сиренью. В старикиных глазах светились слёзы. Когда, обессилевши, осел на заледенелую землю и, обняв Дружка, забылся, то привиделась заснеженная, вьюжная степь, по которой, извиваясь мрачной и жалкой рекой, растянувшись на много вёрст, бредёт отступающая армия, и он, молоденький солдат, за несколько месяцев постаревший на десять лет, волочится, угибая лицо от пронизывающего ветра. Потом вдруг отеплило, и, словно с небес, увидел он себя, малого, в белой посконной рубахе чуть не до пят, бегущего среди светящихся росных трав и цветов, бегущего прямо к утаённой в тумане реке, из которой выплывает румянолицое солнце. Впереди несётся дворовый пёс... А у реки парнишку поджидают мать с отцом, чтобы, спихнув плоскодонную лодчонку, уплыть к сенокосным лугам...

К вечеру чёрное небо глухо прижало город к земле, и всю ночь до рассвета тихо и густо валил снег, и город, утопая в сугробах, вымер. Лишь слышался в торговых рядах сиплый собачий вой... Там, между двумя железными ларьками, пожилая дворничиха нашла старика, которого набожная баба всякое воскресенье видела на церковной паперти Крестовоздвиженской церкви, подавая милостыню Христа ради. Покойник, обряженный снежным саваном, глядел в небо; на восковых губах инеем застыла мольба мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному...» Рядом со стариком сидел пёс, при виде живой души переставший выть.

Дворничиха, вдосталь хлебнувшая лиха на вдовьем веку, не испугалась покойника; лишь вздохнула и, сквозь заснеженный город слезливо глядя в свои печали, подумала вслух: «Слава те, Господи, прибрал Бог убогого... – Дворничиха отмашисто перекрестилась на восток, перекрестила и старика. – Господи, упокой душу раба Божия... – баба не ведала старикова имени, – прими его во Царствии Своём и прости ему прегрешения вольныя и и невольныя... Отмутился, бедолажный. Опять же сказать, и нынешняя собачья жись – помирай ложись. Дак лучше от греха... – Баба не осмелилась продолжить, словно ангел упреждающе шепнул в душу, что не она, дворничиха, жизнью ведаёт, а сам Господь Бог, и грех ей вольничать, беса тешить, подманивая пустоглазую. – Опять же, крути ни крути, а надо померти... Боже Милостивый, прости мя, дуру грешную...»

Дворничиха пала на колени перед стариком и, бережно опустив веки на незрячие глаза, поцеловала в ледяной лоб. Тяжко поднявшись, шумно вздохнула, глянула на старика, белого как лунь, лежащего на голубовато-белом утреннем снегу... правая рука на груди, персты сложены словно для крестного знамения, и вдруг... приоблажилось ли, померещилось старой бабе... старик медленно открыл синеватые ласковые глаза, и до костей иссохшая, восковая рука вдруг осенила вдову крестом. Дворничиха оторопела, испугано шарахнулась, суетливо и мелко закрестилась:

– Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!..

Миновала оторопь, баба присмотрелась к бездыханному, покачала головой в диве: наблазнится же, и опять перекрестилась, прошептав Иисусову молитву.

Ноябрь 1995, март 2011, апрель – май 2014 года

Господи, прости...

Памяти Василия Шукшина

В белёсом предночном небе, над вороньим крылом меркнувшей берёзовой гривы запылилась желтоватая робкая звезда, и корявый пойменный лес, с половодья опутанный тиной и сивой травой, молитвенно притих, млело и бездумно глядя в наплывающую ночь. Когда прибрежный ивняк и черёмушник дремотно смеживал темнеющие веки, Иван Краснобаев уже избродил полреки, скользя на замшелых зелёных валунах, продираясь сквозь тальник и смородишник; обудил все чаровные омуты, ревучие перекааты и не узрел даже гальяньего хвоста. Злой, голодный как собака, с матерками навьючил дородный рюкзакище, под которым, жилистый, но малорослый, утаился с головой, потом осерчало поскрёб пегую бороду и сплюнул в бедовую речку, где туманными зорями плескалась, играла его юность, где теперь не осталось и завалищающего хариуса, не говоря уж о ленках; даже лягухи отквакали. Мёртвая речка...

В своё время по ней, горемычной, сплавляли лес, и от закаменелых топляков на дне уже сбился деревянный пол. А потом химический завод навадился сливать в омут фиолетовые помои, и рыба, что в вершине реки метала икру по весне, а летом вольно паслась, ушла в Байкал и больше не возвращалась.

С дохлого угла волочились тучи, и хотя солнце давно уж село, небо, добела раскалённое за день, ещё пыhalo жаром. Чуть живой, мокрый от пота, так изъеденный комарами и мошкой, что на опухшем, волдыристом лице по-тунгусски светились лишь злые щели, Иван доплёлся наконец до ветхой, без окон и дверей, безбожно исписанной, изрезанной зимовейки. Пол, некогда сколоченный из листовничных плах домовитым рыбаком ли, сенокосчиком, лихие шатуны выдрали и спалили в кострах, что разводили прямо в зимовье. Возле стылого пепелища валялись консервные банки, бутылки, рваные пакеты и полуистлевшее от сырости, дозелена заплесневелое тряпьё. Чудом уцелели нары и столешня, изрезанная бродягами: «Года летят, а счастья нету!», «Не забуду мать родную и отца!»; а на стёсанных венцах начертанные углём зловеще красовались уркаганьи²⁷ послания: «Валет, фуфлыжник, хва беса гнать, лепить горбатого, гони башли! А то, фраерок, рога посшибаю!...» Фраерок ответил венцом ниже: «Тише, хряк, на бритву лягишь!...» Иван встревожился, почитав варначью²⁸ переписку, но положился на волю Божию: Бог не выдаст, хряк не съест...

Разведя подле зимовейки вялый костерок, наспех, без обычной услады почаявал, затем потрусил на щелястые нары сухой ковыль и, забравшись в спальник, начал разбирать более мирные писаницы про то, что здесь ели, пили, веселились Таня, Саня, а дальше – не то любовь, не то собачья сбегишь. Тёплым илом стал обволакивать душный и липкий сон. Но меж сном и явью, лёжа напротив незавешанного оконного проёма, он ещё глядел соловыми глазами на темнеющий ивняк, на серебристую речную течь, и в память без всякого зова и мана полезла речная нежить. Откреститься бы, да вот бединушка, не обрёл ещё такой благой привычки.

Поющий и плачущий о былом крестьянском житье-бытье, слитом с окрестными лесами и полями, с реками, озёрами, писатель Иван Краснобаев выюжными зимними вечерами до одури начитался бывальщин про нежить домовую, речную, таёжную, в которую не верил и сызмала, не давал веры и теперь, когда уж борода закуржавела покровским инеем. Но сами бывальщины про окаянных и лукавых любил, грешным делом, послушать, почитать, вплести в простушки-повестушки, в сказы и рассказы, – так сладостно обмирало сердце от жути таинственных чар.

²⁷ Уркаган – от слова «урка», и обозначает дерзких хулиганов.

²⁸ Варнак – разбойник.

В его дедовском селе тёмноверные старухи, испуганно косясь влево, а затем, троекратно сплёвывая через плечо – там анчутка беспятый караулит, и крестясь направо – там ангелы-архангелы спасают, вкрадчиво шепелявили: дескать, Божьи слуги, ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, спихнули падших ангелов с небёс, и градом посыпалась клятая нежить на землю. Которые бухнулись и нырнули в речные омуты и гнилые озёрные заводи, стали водяными, которые свалились в буреломные таёжные распадки – лешими, скользнувшие по саженым трубам в избы да бани – доможилами и баннушками, а уж в калтусах и зыбунах увязли шишиморы болотные. Припарились к водяным да шишиморам зелёногривые, жгуче-окие русалки, – деревенские девки, либо утопшие, либо уличённые в блуде, клятые отцами, матерями и дедовским миром. Водяные искусительные девы, нежно выпесненные южными славянскими поэтами, сроду не волновали нищий дух Ивана Краснобаева, заземлённый, не парящий в небесах, но и не прогневивший суевериями, и по своей насмешливой простоте он гадал: и каким же макаром омутная чаровница может соблазнить лопухого деревенского паренька, ежели у неё и ног-то нету, сплошной хвост?!

И, судачили старики, будто нечисть та, незримо обитая подле живого люда, обросла их свечками, и добрыми, и худыми; мало того, домовые, водяные, лесные шиши стали по-хозяйски приглядывать за ладом в избах и дворах, в лесах, на озёрах и реках, до тряского озноба и родимчика пугая шалых мужиков и ледащих баб.

«Суеверия... сказки... бес путает... Православному и думать-то грех про окаянную силу...» – прикинул Иван и, несвычный жить молитвенно, не открестившись от беспятых, стал засыпать. Ночь выстоялась тёплая-тёплая и глухая – похоже, перед дождём, и меж туч сияла мертвенно-белая луна.

За полночь Иван вроде очнулся от сна... а может, ещё барахтался в бредовых видениях... хотел, было перевернуться на другой бок, но вдруг приметил в пустую оконную глазницу, что на берегу реки, облитой стылым сиянием, юрко мельтешат торопливые тени. Он, кажется, сел на нарах, оцепенело глядя в сияющую оконницу, – оторопь взяла... И приоблазились...

* * *

Вначале послышался знобящий душу, многоголосый и заунывный плач или вой, потом привиделось: в реке, на заросших зеленоватой тиной, кряжистых топляках голосили водяные с подкоряжными, омутными девами – упились заводскими помоями, нанюхались вонючих дымов, тяжело опадающих в речную течь. На обличку смутные духи зрелись людьми – без рогов и хвостов, в скудной травяной одежде, – и всё же это тоскливо гуляла нежить.

Анчутка серый маял гармонь и вопил, роняя на меха ковылистый чуб, изредка оглядывая бражников синеватými, но опустевшими, пьяно размытыми глазами:

Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб тебя не видя умереть...

– Серый, вжарь повеселей, чтоб ни печали, ни покоя! – щёлкнув пальцами, велел плечистый и корявый водяной мужик.

Серый тиснул жалобно проворчавшие бардовые меха, но тут же развалил их с рывканьем, метнув пальцы по ладам и басам, и взыграл «комаринский мужик».

– Дай жару, Яшка, чтоб чертям стало тошно!

И Яшка, распластавший рубаху до пупа, забухал косопятыми кирзачами в деревянный пол; плясал «камаринского», плясал молча, с жутким и злобным старанием, но изломанно, куражливо, как пляшет тоскующий русский мужик без Бога и царя в голове. Глаза его плакали,

текли хмелью – видать, ныла, скулила горемычная душа – и на отмашистых скулах катались набрякшие мстительные желваки.

Мы не с радости гуляем,
Не с веселья водку пьём,
Все продали и пропили,
Завтра по миру пойдём... —

прохрипел Яшка и так притопнул по деревянному речному дну, что с окаменевших и позеленевших топляков вздыбился ил, и помутилась река. Сидящая и лежащая нежить – заторканная лесом, избитая, изволоченная, полуживая и пьяная, – остервенело выла, хохотала, и текли их сорные слёзы в Байкал, пенясь и бурля.

– Давай, Яшка, давай! – хлопая в ладони, взвизгнула водяная шалава, наспех обряженная мшистой придонной травой.

– Сама давай! – матюгнулся Яшка. – Тебе, Милка, сподручнее.

– А что! – Милка тут же вылетела в круг и, яро колотя в скользкие топляки, потряхивая тощим выменем, сипло вывела:

Развалили всё хозяйство,
Научились воровать.
А я девчоночка бедовая,
Пошла любовью торговать.

– Девчоночка... Любо-овью торговать, – зло скривился Яшка. – Молчала б лучше в тряпочку... полодырая.

Отголосив в ответ матерную тараторку, дева пала на облезлый, костянисто посвечивающий листвяк, и к ней тут же прилип вынырнувший из улова, наглый мужичок – его так и звали в глаза и заглазно: Гошка Наглый. Облапил, тыкаясь мокрыми губами в шею.

– Пошли, Милка, примем, – лыбясь тонкими змеистыми губами, помигивая белыми рыбьими глазами, ловко и заманисто щёлкнул в кадык, мышью снующий по узкому горлу. – Я под корягой закурковал от этих алкашей... А ежели хочешь, можно уколоться... и упасть на дно колодца.

– Отвяжись ты от меня, а! – Милка брезгливо отпихнула Гошку Наглого. – Надоел ты мне, Жора, хуже горькой редьки. – Она с презрением покосилась на своего бывшего друга. – Глаза б мои не тебя не глядели.

– У-тю-тю, каки-ие мы холёсые... – игриво протянул Гошка Наглый и захохотал.

– О, Господи, как мне надоела жись наша клятая... – Милка заплакала, утопив пальцы в тёмно-зелёные, сыро взблёскивающие лохмы, яростно сжав их в горстях, словно хотела выдрать с корнем.

У берега реки, на высоком, обгорелом пне, словно на чёрном троне, восседал сам Хозяин – чернокрылый, студёноглазый, с клювистым носом, зловеще нависающим над провалившимся старческим ртом, – и, отмахивая рукой, молча и усмешливо правил, словно дёргал нежить, будто тряпичных кукол, за ссученные из сивого конского хвоста, незримые жилки. Когда Милка вопила и острые плечи её ходили ходуном, Хозяин, хохотал, и хохот его, зловещий, леденистый, мрачно кружил над пойменным лугом.

* * *

Долго ли, коротко ли, но выползла пьяная нежить из воды на седые под луной, прибрежные травы, поближе к Хозяину, и тут пошла петь и плясать, да так отчаянно и лихо, что Хозяин опять повеселел, и смех его, похожий на громовые раскаты, покатился по-над речкой, отдаваясь гулким эхом. Прибилась к водяным, гораздая потешиться, и шатая из ближних лесов и болот. И такой взнялся шальный гомон, что звёзды испуганно и ознобленно задрожали, осыпаясь наземь, как палый лист.

Лишь самый дремучий водовик, трухлявый, укрытый бурой придонной травой, перепоясанный ссученным камышом, вроде бы ждущий, что Он его простит, одиноко и отрешённо торчал на чёрной коряжине и узловатыми, тряскими пальцами перебирал осиновые чётки. Сидел, свесив заморковевший нос, сронив отяжелевшую голову, увенчанную зелёной кугой, и печальными, потухшими глазами синё и слезливо глядел, как светится росой луговая овсяница, как задумчиво белеет под луной свежесметанный зарод сена, как возле деревенской поскотины лошадь бренчит медным боталом, как на выбитом, закаменелом облыске пляшет его внук Гошка Наглый. Скачет беспятый, потряхивает зелёными кудерьками и, охлопывая себя по замшелой груди и кривым ногам, ревёт лихоматом:

Пропадите лес и горы,
Мы на кочке проживём!
Опа, опа, Америка, Европа!..

– Милка! Гребни сюда. Споём на пару! – крикнул он водяную деву.

И Милка – клятая в миру гулёна, в начале лета утопшая в реке, – запела, взбрыкивая ногами и задирая травяную юбочку выше срама, при этом так дико замотала головой, отчего волосы, будто водоросли, стоймя стоящие на голове, падали и закрывали опухшее, синеватое лицо.

Не грусти, мой дорогой,
Что мы теперь голодные.
Были мы рабы в Советах,
А теперь слабодные! И-их!

Серый, что терзал гармонь, утишив меха, мутно взгляделся в деву, и вдруг, маятно закатывая глаза, не запел даже – взвыл:

...И после смерти мне не обрести покой,
Я душу дьяволу отдал за ночь с тобой...

Хозяин раскатисто хохотал – вторило с каменистых отрогов испуганное эхо. А лешаки приплясывали возле девы водяной на суковатых ногах, подмигивали, отчего она пела ещё отчаянней, с подвизгом. А тут ещё из дачного посёлка вдруг обвалом загремила свирепая музыка, словно кто-то, одуревши с горя, молотил без передыха в цинковую шайку.

Ты иди по жизни смело,
И кому какое дело,
Кто тебе в постели нужен
Секшен революшен...

Завертели анчутки хвостатыми задами, словно им в травяные порты сунули огненной крапивы; а шишиморы болотные, свесив на лица жёлтые космы, прожигая ночь ненасытно горящими синими глазами, закутили хоровод и затагнули жутко и мертвяще:

Пароход плывёт,
Прямо к пристани.
Будем рыбу кормить
Коммунистами. И-их!

И всё так же наособицу, жутко и в слезах плясал Яшка, а подле него крутили хвостами и, точно в припадке, трясли нечёсаными патлами два молоденьких зелёных лешака. Потные американские майки, утыканные звёздами, липли к спинам.

– Милка! Где ты шарисься?! – взревел Гошка Наглый, узрев, что деву водяную манит Серый в густые тальники; и, колотя в брюхо, словно в бубен, заорал благим матом:

Милка старого режима,
Не ходи на улицу.
Я теперя демократ,
Задушу, как курицу!

И подыгрывал ему на отвислых, брыластых губах хвостатый мужичок, и подпевали шалавы водяные, рассевшись на гладкой сосновой кокорине, сложив руки под вислыми грудями. Шабаш: разыгралась, расшумелась нежить в Русской земле. Хозяин довольно и утомлённо прикрыл глаза...

* * *

А дремучий водовик всё сидел в горьком отчуждении и не то пел, не то голосил сам для себя и про себя. Подрагивая в речных струях, хвостато вытягивались жёлто-сонные звёзды; дробился и выстилался туманом над голубовато-белёсой рекой вопль древнего водовика, молящего прощения. Тянул дед безмотивно ноющую старину про то, как спихнули его с небес, гордого, и упал он в речное улово и стал водяным... Пел он про старого мельника, с коим любил лясы точить и поробить в паре, накручивая колесо и сторожа запруду от полых вод. Но пришла живая нежить – очкастый и носатый, с люциферовой метой во лбу, потряс бумажкой с тавром Хозяина, и запрятали горемышного мельника в кутузку, потом угнали в каторгу. Там и загинул, несчастный... Сгнила и порушилась мельница, перестали мужики хлебушко молоть, и лишился он, водяной хозяинушко, тихого крова – улова родного. Старик пел про то, как, играя и сверкая на перекатах, кружась в омотах, вольно и непугано текла река, ласкала и гладила ленковые, хариузовые спины, застившие дно; старик пел про то, как ходила ходуном, бурлила и пенилась речная течь на маковой заре, когда играла и кормилась опадающей мошкой оголодавшая за ночь белорыбица; как весело резвился он, молодой, удалый, то загоня рыбы табуны в невода и сети, то отпугивая, ежли рыбак не глянется, ежли хвастливый больно, ежли прямо в икроемёт закинул мерёжу, ежли петров корень к гайтану не подвесил – не боится изурочиться, не почитает его, хозяинушку речного, ежли не сотворил кудесы – из первого улова не откинул ему, водовику, пару хвостов, ежли... табачку не бросил хоть на один понюх, да и мерёжу не обкурил богородичной травой, но перво-наперво... ежли согрешил накануне лова, не покаялся, не помолился, не выпарился в бане.

Пел дедка и про то, как щемило душу страхом и печалью, когда из ближнего села доплывал колокольный звон, и поминались времена, когда он, светлый и обласканный, обитал в небесах среди любовной силы. И уж рождалось покаяние...

Уж тут злое горюшко людское да кидалось,
В речку синюю, да славну речку... —

причитал старик по-кликушы, сложив истраченные, обвитые синими жилами, коряжистые руки на провисшем животе, —

Славна реченька да сволновалася,
Вода с песочком да спомутилася...

* * *

Хозяин когтистым пальцем подманил к себе Гошку и, косясь на старого водовика, что-то прошептал Наглому в ухо, и тот вразвалочку, куражливой походочкой подвалил к деду.

– Сгинь с моих глаз, – отмахнулся от него дед.

– Что ты, старый пень, всё ноешь да ноешь, скрипишь, как мельничное колесо – слушать тошно, – огрызнулся в сердцах Гошка Наглый, которому не досталось ни девы водяной, ни шишиморы болотной – пропил, пробазлал, прохлопал зенками, всех и растащили по кустам. – Что ты всё ворчишь да ворчишь, старьё поминашь?! Счас, дед, другое время, счастливое... свободное. Народ кругом богатый, гребёт деньгу лопатой.

– Богатый, он, что бык рогатый, – усмехнулся старик, – так и зыркает бесстыжими шарами, кого бы рогом запороть, кого бы облапошить.

– Не-е, дед, тебе не понять, ума не хватит. Такая жись пошла... Ешь, пей, веселись.

– Во-во, ели-пили-веселились, посчитали – прослезилась...

– Ишь торговля-то пошла какая, и товар заморский. Кругом свобода... Ранешний рыбак из мокра не вылезал, а всё голым задом сверкал. Одних харюзей да ленков трескал, а теперь всё есть, что душе угодно. А ты – харюзя...

– Дурак ты, Гошка.

– Жора, – поправил Гошка Наглый.

– Ежели Жора, то и вовсе остолоп... Ты, пустобай, и рыбы-то путней не видал в глаза. И сроду не увидишь. Расфуговали всё хозяйство, караулить некого. Сами-то скоро передохнете, как паршивые собаки. Сожрёте друг друга. Жалко вас...

– Ладно, дед, пугать-то, пуганные. – Анчутка беспятый засмеялся прямо в стариковское лицо, закатил пустые белёвые глаза, и старик брезгливо отвернулся – из Гошкиной пасти... налкался уже – на много вёрст несло химией. – И отравой нас поили, и лесом давили, и пароходами глушили, и чем нас только ни гнобили, а всё без толку – жив-здоров Иван Петров.

– И лягух-то у вас скоро не останется...

– Ничо-о, дед, проживём. Может, нас американцы завоюют. От бы здорово – красиво бы пожили. – Гоха оглашенно загорланил:

Я буду плакать и смеяться,
Когда усядусь в «мерседес».
Американ-бой,
Возьми меня с собой...

– Ох, конец, конец всему...

– Дед, а дед, поговаривают: дескать, у тебя золотишко водится. На чёрный день припрятано. От мельника перепало... Сыпанул бы своему внуку... Вот-вот помрёшь, в могилу же с собой не заберёшь.

– Пошёл вон, ш-шанок мокрогубый, – старик замахнулся суковатой клюкой. – Я те сыпану – век не унесёшь.

– Ладно-ладно, старый, не гони волну, – отмахнулся Гошка Наглый и, томно укрыв глаза линиями ресницами, весело припомнил: – Я вот под городом, дед, промышлял. Такая распотеха, дед, умора чистая. Понаехали машины-лимузины. Мужики и девки там. И пошли гужеваться. Ночь-полночь, девки вздумали купаться. Прямо, дед, нагишом попёрли в речку. Девки ногастые... Одну уволочил...

– Тьфу! – сплюнул старик. – Видал я этих городских соплюх, – худенны, как моя жись. Откуль им дородность брать?! С заморских консервов, ежли путней рыбы нету?!

– Есть... да не про всяку честь, – усмехнулся внук. – А что худенны, дак раз мода такая. Зато ноги из ушей...

– Как ишо рожают, ума не приложу. Вот раньше, помню, девки были – выгуль-девки, в воде не ущипнёшь. Свояк мой по Байкалу гнал рыбу гоном. Стал к берегу прижиматься. Глядь, девка на закате бельё полоскат. Возле мостков забрела и... Свояк-то и думат, надо уповод ночной ладить. Хвать девку за ногу и поволок. Да она, холерная, так его лягнула, что и по сей день без памяти лежит.

– В старо время, говорят, и вода посырей была, – скривился внук. – Ну, ладно, некогда мне с тобой рассусоливать, лясы точить. Ты мне лучше шепни на ухо, как насчёт картошки дров поджарить. Я про золотишко... Чу-ую, чую, под пень заховал... Сыпанул бы, а я бы, глядишь, на это золотишко торговлишку отрыл. Набрал бы оптом спирту, курева, тово-ново и пошёл бы приторговывать по деревням. Зажил бы кум королю...

– Ты меня лучше не выводил, дикошарый! – Дед опять ухватился за суковатую, до костяного бела вышарканную клюку и достал бы внука тем батожком, поцеловал в лоб, но Гошка Наглый отскочил от греха подальше, и уже издали пригрозил:

– Смотри, дед, не пожалел бы... – Гошка оглянулся и, увидев, что Хозяин опять манит его когтистым пальцем, суетливо и мелко засеменил к тому на кривых и сухих ногах.

* * *

Одурело вопила в дачном посёлке музыка, билась в родимчике. На берегу всё так же одиноко и старательно плясал хмельной мужичок Яшка; плясал и плакал. А из боярышника, вслед за Серым, пошатываясь, отряхивая юбочку, вышла вскосмаченная дева и опять стала вязаться к мужику. Тот злобно отпихнул Милку, тут же упавшую в траву, и снова пошёл угрюмо бить копытами в измученную землю. Гошка Наглый поднял водяную деву, испробовал что-то стильное сплясать с ней, но музыка неожиданно захлебнулась, и сразу стало могильно глухо и тревожно.

– Го-ошка-а, спо-ой на-ашу-у... – велел Хозяин, и голос его, хриплый, нежилой, раскатило проплыл над рекой и поляной, и угас в чернеющем боярышнике.

Нежить зашевелилась, а Гошка тут же нашёл гитару, забрав её у пьяного деревенского парня, спящего под изломанной черёмухой.

– Пополнение в нашем морском батальоне. – Гошка сыро и холодно улыбнулся змеистыми губами, взял гитару, затем, подумав немного, наступил парню на горло. Тот утробно захрипел, скорчился, погрёб дернину ногами и затих... Из кармана его топорщилась заткнутая газетной скруткой недопитая бутылка, которую Гошка Наглый тоже прихватил и, допивая остатки на ходу, игриво помахивая хвостом, вышел на поляну.

– Можно и нашу, – настроил гитару и так захрипел, что на висках и заломленной шее вздулись жилы и, казалось, что от натуги с ним случится неприличное. Анчутка беспятый ревел на всю округу, брэнча на гитаре со всей своей бесовской моченьки:

Лукоморья больше нет,
Дуб годится на паркет.
Так ведь нет,
Выходили из избы
Здоровенные жлобы,
Порубили все дубы
На гробы...
Ох, уймись, уймись, тоска
У меня в груди,
Это только присказка,
Ска-азка впереди...
И русалка там была...

– Милка, это про тебя! – крикнул он рыжей деве.

Честь недолго берегла,
А потом, как смогла, родила.

– А ты уж, Милка, не родишь...

Тридцать три же мужика,
Не желая знать сынка,
Пусть считается пока,
Сын полка...
Ох, уймись, уймись тоска
У меня в груди...

Хозяин, довольно поёрзал на горелом чёрном троне-пне, согласно кивнул своей рогатой головой и снисходительно похлопал.

– Бра-аво-о, Го-ошка-а... Порубили все дубы на гробы... – Хозяин набил вороно сверкающую трубку с вырезанной бесовской личиной и, щёлкнув зажигалкой, опанхнул себя густым дымом.

И снова из-под коряжин, из тины болотной, из речных омутов и таёжного урмана сползлась на песню, как слепни на огонь, речная, лесная, болотная нежить. Мужичок Яшка долго и тупо смотрел на выползшую нежить, потом на козлорогого Хозяина, и глаза его стали оживать, осмысляться и вдруг загорелись нестерпимой яростью, синеватым светом прожигающей тьму. Мужичок подхватил берёзовую жердь и, со звериным воплем крутя ею над головой, кинулся мимо оторопевшей нежити к Хозяину... Бог весть, что бы тут вышло, если бы Гошка Наглый не кинулся ему в ноги. Мужичок, выронив жердь, рухнул со всего маха, потом, опершись на руки, свирепо матюгаясь, встал на карачки. Но тут Гошка Наглый и свалил его подобранной жердью. Охнул мужичок, ткнулся в кочку бедовой головой и закорчился на траве, яро, кло-чьями вырывая сухой дёрн. Нежить притаилась, испуганно глядя, как мужик затихает.

Хозяин опять захлопал, затем поманил к себе Гошку Наглого и что-то прошептал ему на ухо, искоса посматривая на одинокого водяного деда. Гошка угодливо и согласно покивал

головой, оглядел присмирившую нежить и крикнул зелёную водяную деву. Милка, отрезвев, знобко подрагивая острыми плечами, подошла, немигающе уставилась на Гошкины руки.

– Не бойсь, Милка, тебя не трону. Дельце у меня... Знаешь, надо деда потрясти. Надыбал, куда старый золотишко сховал...

– А я тебе зачем?

– Вдвоём сподручнее. – И потише прибавил: – Обычай такой бесовский, ритуал – повяжемся...

Гошка Наглый тронулся к старику, вихляясь и припевая:

Если вы потоните,
И ко дну прилипните,
Год ляжите, два ляжите,
А потом привыкните...

Старик сидел, прикрыв глаза в полузабытьи тонкими, в синих прожилинах, желтоватыми веками; и, может быть, виделось ему, будто он, невиданно полегчавший, в белом саване плывёт над истерзанной землёй, вздымаясь всё выше и выше: и звуки сладковатым, усыпляющим дымом кутают его с материнской и отцовской лаской; и он, кажется, даже не успел охнуть, когда холодные пальцы стиснули его горло; лишь ощутил, что уже совсем перестал чувствовать в себе грешный дух, что ему легко и светло, как никогда не бывало на этой измаянной земле.

* * *

Иван очнулся и увидел в дверной проём зимовейки взбушевавшийся мрак, потом услышал, как напористо гудит дождь. Вдруг всё обмерло в жутком, томительном ожидании, и тут же лопнуло небо, раскололось с ярим железным грохотом, и прокатился по ночи свирепый гром. В таёжном хребте ворчливо затих, потом снова ударил, снова... Озаряя полнеба, плетьюми секли землю и впивались в неё молнии, и в их обмершем свете чернели кусты, пенилась, кипела река, откуда столь наблазнилось нынче беспроклому рыбаку.

Иван вспомнил, что нынче Ильин день; вспомнил, как его суеверный дед говаривал: дескать, пошаливает нечисть накануне Громовника, и читал ему, несмышлёнышу, из ветхой книги: «На огнистой ходке могучий и седой старец с грозными очами разъезжает из края в край по беспредельным небесным полям, и карающая рука его сыплет с надзвёздной высоты огненные каменные стрелы, поражая бесов и преступивших Закон Божий сынов человечьих. Даже сам сатана трепещет перед Ильёй Сердитым...»

Потом Ивану погрезилось: Небесный Воин архангел Михаил скачет в громе и сиянии на белом коне, с грохотом вонзая молнии в бурлящую реку, в испуганно поникшие долу чёрные тальники, в крыши дачного посёлка и ветхой деревеньки. Как бывало в детстве, Иван вдруг обеспамятел от страха, сжался с неуёмной дрожью, с воплем, готовым вырваться из обезумевшей сути, поджидая, что молния сейчас поразит его, безвольного, опутанного грехом. И никогда ещё с такой полной верой, с таким страхом, с таким ошеломляющим раскаяньем, с такими слезами не молил он Господа:

– Господи, прости!.. Господи!.. Милостивый!.. Прости меня, грешного. Господи, прости-и...

Дождь лил как из ведра, и беспроклый рыбак не помнил, как снова забылся, клубком свернувшись в коконе спальника, и спал крепко, полно, без снов и видений, – тоскливые, бредовые и безысходные грёзы не терзали его блуждающую, сиротливую душу. А когда проснулся и глянул из зимовья, в глаза его с небесной синью радостно и влажно хлынула сияющая листвова, омытая берёзовая грива. Вольно отпахнутые глаза сеголетнего чада, из коих обида, страх,

отчаянье вымылись слезой до ласковой синевы... Господи!.. Благодать-то какая!.. Лениво текла река, и по-над самой парящей водой лёгкими, сизоватыми лохмами кочевал туман; тепло румянились избы деревеньки, над которой словно кружили в синеве белые церковные маковки. Неподалёку от зимовья жилистый мужик с дородной бабой ворошили граблями валки скошенной травы, чтобы просохла и проветрилась, а у края покоса на крапивном мешке желтела одуванчиком девчушка, старательно плетущая ромашковый венок. Ивану вдруг живо, явственно увиделось своё сенокосное малолетство, и припомнилась запечатлённая осенняя печаль:

Я уйду, и с голубых небес
опустится на степь и лес
зелёной мглою лето.
У покаянного рассвета
С мольбою к Богу обращаюсь...
услышу, как поёт младая Русь,
увидю: сон или не сон?
в моём поселенье – церковь,
колокольный звон.
Я в белом рубище, босой,
иду с косой в заречные покосы.

1995, 1999, апрель – май 2004 года

Ленский карнак

Поэту Анатолию Горбунову

Сырым летом, будь оно неладно, ухватил я в таёжке подле Байкала треклятого клеща. Смертельный он был или так себе, чепуха на постном масле, бог весть, но только обморочного, в жару, притортали меня добры люди в заразную больницу, древние бараки которой сумрачно чернели на горе среди высокого березняка и густого черёмушника. Неподальёку виднелись могилки, они были рядом, рукой подать, зазывно маячили перед глазами. Я, конечно, не шибко обрадовался эдакому соседству, – как ещё наши коновалы на кладбище больницу не открыли.

Прошлые лета, вусмерть запуганный клещом, я до макушки лета, пока эта холера домовничает в лесу, и носа в кусты не совал, сиднем сидел в своей лесной избушке или уж шатался по широким, дочерна наторённым тропам; а тут поманило черемши²⁹ добыть и, даже не перекрестившись, не положась на волю Божью, кинулся я в лес, ну и, конечным делом, добыл... клеща на свою шею.

Немного одыбав, войдя в память, стал я, как и другие такие же горемыки... а набилось нас в палате, как сельдей в бочке... маетно поджидать свою судьбу, – чтой-то мне скажут анализы?... – слезливо и настороженно вслушиваясь затаённую утробу, а тоскливыми, бессонными ночами, уже прощаясь с кровной роднёй и даже творя неловкие покаянные молитвы. Незадолго до того, как мне угодить в больницу, от той же злокозненной букашки помер брат моего друга, потом – ещё один знакомец, потом... так что было не до смеху. А тут ещё врач – махонький, вертлявый, по фамилии Ребенок, которого укушенные мужики дразнили Ребёнком; привалил этот врач в палату на обход и весело так, ласково подмигивает нам: дескать, бабушка ещё надвое сказала, господа, что лучше – в ящик сыграть или остаться калекой, навек прикованным к постели. Да ещё и дураком... Может, оно копытья-то откинуть – ещё сподручнее, и родне не в обузу. Вот так и утешил нас дорогой Ребенок.

Но смех смехом, а было страшновато, и мы переносили это мучительное ожидание молча и угрюмо. Помню, лишь матюгался, клял тайгу чернявый, кудреватый мужичок, которого позачь звали шашлычником. А уцепил он клеща вовсе и не в тайге – прямо в городе Ангарске, подле харчевни, где под кустами развёл свою шашлычную. И теперь, в больнице, поджидая анализы, пытался оборониться от хвори и печали тем, что одиноко, отчуждённо и много ел, потому что харчи ему носили по два раза на дню. Вот он и жевал с утра до ночи, со вкусом запивая харч армянским коньяком. Он даже пытался задобрить нашего Ребёнка бутылкой дорогого грузинского вина... чтоб анализы ему выдали получше наших.

Так вот мы и жили, спали врозь, а дети были, как говаривали в моём селе... Но неожиданно в нашей затенённой черёмушником и березняком сумрачной палате вроде оттепилось, посветлело, когда вслед за молоденькой желтокудрой сестрицей явился Карнак. Так его, Ефима Карнакова, весело прозвали в палате, так он и сам себя величал, расталмачив, что в северной глуши, откуда он родом, карнаками зовут бывалых таёжников, знающих всякую травинку-былинку, всякую зверушку-пичужку. Был он и впрямь карнаком или языком трепал, но от говора его, от всей облички терпко пахло тайгой, – кружащим голову духом сосновой смолы, чушачьего багульника, черемши и смородишника. С лица он был черней головёшки, какие остаются от жарких таёжных костров, скуластый, хитроглазый и прищуристый; с рысёй вкрадчивостью, слегка враскачку ступал своими коротковатыми, кривыми ногами, будто и не по скрипучим половицам ходил, а сосновыми тропами, ублажёнными буроватой, топкой хвоей.

²⁹ Черемша – съедобная листовая трава.

Мужики из моего забайкальского села, на земляную колодку шитые, охотников не шибко привечали, косоротясь и вздыхая: дескать, в бане по году не моются, пню горелому молятся, ни кола ни двора, ни семьи путней. Да и какая там у охотника семья, ежли, кинув жену и ребя-тёшек, полгода в тайге шатается, а придя в жилуху, пьёт без просыху, куражится над бабой, подозревая её во всех смертных грехах; другой раз, и за ружьё хватается, – это как допьётся до зелёных чёртиков. Не привечали наши мужики охотников, но послушать ихние байки любили. Так вот и я...

Карнак вошёл в палату, кажется, выпивши, картинно запахиваясь в широченный, на двоих, мышинового цвета халат, размахивая сеткой, в которой сиротливо болтались среди пачек «Примы» две-три мятые книжонки и зачем-то щербатая, прикопчённая алюминиевая фляжка.

– Ну что, да-ра-гой, тоже подцепил, – мрачно усмехнулся в смоляные усы шашлычник, с кривым, как турецкая сабля, кавказским носом.

– Кого подцепил?! – Карнак выпучил на него глаза. – Ты чо, земля, я человек серьёзный, жениться собираюсь. – Он по-свойски подмигнул сестре. – Подцепил... Ничего себе заявочки.

– Щютник, – скривился шашлычник. – Но ничего, ничего, да-ра-гой, забудешь свои щюточки, как полежишь в этой больнице.

– В какой ещё больнице?! – встрепенулся Карнак. – У меня путёвка на курорт... К югу, в Гуленджан... – И, косясь на шашлычника, пританцовывая на кавказский лад, вдруг запел на ломаном русском:

Гуленджан, Гуленджан,
На базаре лавка.
Мы торгуем баклажан,
Разный рода травка.
Мумия сидел.
Солнце сильно припекал:
На высокий на гора
Мумия вспотел...

– Грузинский народная песня «Гуленджан» в сибирской обработке...

Тут сестра его осадила:

– Вам необходимо будет приобрести лекарства, которые вам выпишут...

– А даром уж не лечат?.. Вот зять мой Коля мотанул на курорт, а через неделю шлёт моей сестре открыточку: дескать, врач тут прописал дорогое лекарство – по триста грамм коньяка утром и вечером. Деньги, мол, кончились, пошли, Валя, рублей эдак двести. Твой Коля.

– Весёлый парень, – ухмыльнулся шашлычник и, открыв тумбочку, стал рыться в ней, словно крот.

– И не говорь, паря, – отозвался Карнак и, будто случайно, положил руку на плечо сестры. – Веришь, Танюха, как сейчас помню, начали мне пуп вязать. Вяжут, а я хохочу – чикотно же. Вот и хохочу с тех пор... – отчего-то уже с грустью вздохнул Карнак.

– Устраивайтесь, – брезгливо смахнув с плеча шаловливую руку, осадила девушка бойкого на язык Карнака. – Вот только возле окошка кровать осталась...

– Танюха, да это здорово, что возле окошка.

– Почему? – чуть приметно, краями щедро крашенных губ, усмехнулась сестра.

– А чтоб на свиданья к тебе бегать – хоп и...

– Не выйдет... Располагайтесь. Вот ваши вещи. – Сестра подала ему чёрный больничный куль. – Завтра сдадите их сестре-хозяйке. Если ночью будет холодно, попросите у няни второе одеяло.

– А если скучно будет?! Тут одеяло не спасёт... Таня, можно один скромный вопрос задать? Вот интересуюсь...

– Что ещё? – с напускнутой, так не личащей ей, молоденькой, щекастой, с какой-то нарощенной серьёзностью глянула на Карнака.

– Всю жись мечтал с медичкой познакомиться – такие они все ловконькие, чистенькие. И к спирту доступ... Нет, женюсь на медичке, а то халда попадётся, с греха с ей сгоришь... Короче, вашей маме, случаем, зять не нужен? Непьющий...

– За уши льющий, – добавил шашлычник, и по его речи мы смекнули, что он уже давно осел в Сибири.

– У мамы уже есть зять, – усмехнулась сестра, скользом оглядев Карнака с ног до головы и, похоже, дешево оценив его.

– Да? – Карнак почесал затылок. – Жаль, конечно... Хотя муж – не печка, можно отодвинуть.

Сестра, чтобы прекратить игривое пустобайство, стала наказывать:

– Сейчас няня принесёт банки, на них всё будет написано. Сдадите мочу...

– Куда идёшь? Иду к врачу. Чего несёшь? Несу мочу... Помереть здоровеньким хочу.

– Поэт? – опять скривился шашлычник.

Карнак не ответил, но допел расчатую кавказскую песню:

На высокий на гора
Мумия сидел.
Тучка туда-сюда ёрзал:
Мумия замерзнул.
Гулинджан...
Если на гору залезть
И с неё бросаться,
Очень много шансов есть
С жизнью расстаться.
Гулэнджан...

Сестра, улыбнувшись было, тут же смахнула с лица смущённую улыбку, построжала:

– Прекратите... Надо сдать анализы на сахар, и...

– А зачем на сахар-то?! Я его сроду не ем – зубы берегу. Белая смерть... Ну, ладно, ближе к телу. Так во сколько, моя бравая?

– Что «во сколько»? Мочу сдать?

– Какую мочу?! – Карнак весь сморщился, горестно закатил глаза, но тут же хитро разулыбался и привычно подмигнул сестре. – Я говорю, во скольк встречаемся-то? Надо часы сверить. – Он манерно отмахнул рукав, и огорчённо сплюнул. – Фу ты, черт подери, свои золотые на курятнике оставил.

– Устраивайтесь, – властно приказала сестра. – И чтоб тихо было. Не мешайте людям болеть. А шуточки свои будете в деревне шутить, когда... выпишут, – досказала она с мрачным намёком.

– О ти, какие мы сердитые. Я к вам всей душой, а вы ко мне...

– Чтобы после десяти все были в постели, я проверю. – Тут сестра развернулась юлой и уметелила из палаты, осерчало стукотя высокими копытцами.

Когда дверь захлопнулась, Карнак пропел:

Я с матаней пел на бане,
Журавли летели,

Мне матаня подморгнула,
Башмаки слетели.

Я подумал: «Сейчас моя бабушка Настасья, царствие небесное ей, сухо плюнула бы в ёрника: де и как тебя, охальника, земля носит?! и как ты ртом соромным хлеб ешь?!»

* * *

Освоившись в палате, он распахнул окно прямо в сырые после дождя, пахнущие черёмухой, синеватые сумерки, и, усевшись на подоконник, запалив сигарету, хитровато и прищури-сто оглядел нас, тоскливых, настороженных, ни на минуту не забывающих о напасти – о клеще окаянном.

– Так вы что, мужики, все укушенные? – с радостным дивом спросил он.

– Нет, на курорт приехали, в Сочи на три ночи, – напомнил шашлычник и, плеснув коньяку в тонкий стакан, завинтив пробку, спрятал бутылку в тумбочку.

– Но ничо, ничо, мужики, – даже не глядя на шашлычника, стал успокаивать нас Карнак. – Бог не выдаст, клещ не съест. Как моя мама говорила, царство ей небесное: на всё воля Божия, кому сгореть, тому не утонуть... От тоже напасть, а! Такая, паря, махонькая, а до чего зловредная. Меня от, врать не буду, и медведь драл, и геолог с ружьём гонял, и волк рвал, и сохатый³⁰ бодал – и ничо, жив-здоров Иван Петров.

– И медведь драл, – улыбнулся шашлычник, зажёвывая выпивку сыром.

– Я, паря, врать не люблю. Но вот как-то раз, помню... Ладно, потом доскажу... Мужики! – Он по-бригадирски оглядел нас. – Как тут у вас насчёт картошки дров поджарить? Короче, закусь есть? У меня тут такая настоечка – м-м-м!.. С ног сшибат и от мужской немочи помогают. – Он выудил из сетки свою мятую фляжку, зазывно потряс ею, и в ней глухо пробуль-кало. – Пантокрин чистый, на оленьих рогах настоящий, – чтобы понятней было нам, тёмным, растпорщил пальцы над головой. – Но знахари говорят: дескать, ежели с оленьими рогами туго, можно и на своих настоять. – Карнак подмигнул нам, покосившись на шашлычника, который, посасывая лимон, смакуя, прихлёбывал коньяк. – Ну, что, есть чем занюхать?..

Я и студент-журналист, которого Карнак пробозвал Доцентом, нашарили в тумбочках мало-мальскую закуску и потом до глухой ночи слушали охотничьи побаски, какие наш Карнак выуживал одну за другой, словно фартовый рыбак хариусов из речного улова³¹. Заливал, конечно, без зазрения совести, да ещё и таким кондовым говором, – короче, артист по жизни... Шашлычник равнодушно послушал да и завесил уши наушниками, включив крохотный магнитофончик, под музыку которого и задремал. И вдруг начал так храпеть, что вроде аж стёкла задребезжали.

– На пожарника сдаёт, – покосился на него Карнак и поцокал языком – храп захлебнулся, стих.

– А тяжело, наверно, одному в тайге? – спросил Доцент, не сводя с Карнака восторженно округлённых глаз и даже кое-что исподтихаря чиркая в свой заветный блокнотик.

Усмотрев такое дело, Карнак велел не прятаться, а писать открыто, со слов.

– Можешь печатать, но, чур, гроши пополам... Эх, ты бы мне на воле бражёнки выставил, у-у-у, я бы тебе такого набухтел... С меня же роман можно писать. Да... Я бы и сам тогды-сегды чего накалякал, да буквы не все помню. Кончил три класса да два коридора...

– Тоскливо, наверно, одному в тайге? – пытал Доцент. – Вы же по многу месяцев охотитесь.

³⁰ Сохатый – лось.

³¹ Улово – омут, глубокое место..

– Да... – притворно вздохнул Карнак. – Оно, конечно, скушноовато... без бабы-то... Другой раз, паря, так прижмёт, хоть волком вой... Да и посудачить не с кем. Вот у меня собачёшка водилась, Туманом звать, так я два месяца с ей калякал в зимовье. Однажды спрашиваю: «Може, хватит нам, Туманушко, по тайге бегать, соболя промышлять?..» И вдруг... – Тут Карнак округлил глаза, нагоняя страху. – И вдруг пёс мне и отвечает: «Однако, хватит, Ефимушко...» Ну-у, тут уж я смикитил: раз собака по-человечьи заговорила – всё-о, надо бросать охоту, на жилуху³² подаваться. Крыша едет вместе с рогами... Тут уж я, паря, ноги в горсть и дёру.

– А как у вас на медведей охотятся? – спросил Доцент. – Говорят, раньше сибирские мужики на медведя с рогатиной ходили. Без ружья... Я вот много всяких басен слышал, а серьёзно?

– С рогатиной! – Карнак высокомерно засмеялся. – С рогатиной... А ежели серьёзно, то я мишек голыми руками брал. На музыку. Музыкай, паря, можно кого угодно оморочить, даже медведя... Помню, шишковал по осени, орех кедровый промышлял; и, грешным делом, прихватил в кедрач патефон, пластинками затарился ладно, – люблю, паря, добрую музыку послушать. И вот шишек наколотил, стаскал к табору, начал обрабатывать, отвеивать и калить на костре. Ну, и пластинку завёл – Фёдора Шаляпина: «Эй, дубинушка, ухнем...» И вот шишки шулушу под Шаляпина, увлёкся чо-то, и вдруг огляделся... мамочки родны!.. – Неподалёку четыре медведя... на пеньках сидят, Шаляпина слушают. Сперва-то я страсть как испужался – ружьё в зимовье, а бог знает, чего у этих медведей на уме. Потом, паря, гляжу, смиренно так сидят, покачиваются под музыку, слёзы вытирают, видно, пробирает... И невдолго после этого подваливат ко мне мужик из зоопарка: дескать, медведя бы нам молоденького, ребятишкам казать. «И деньги, паря, на бочку – три тыщы... Счат-то я бы послал его подальше, где Макар телят не пас, а тогда молоденький ишо был, – в поле ветер, сзади дым, да как раз гроши позарез нужны были, – избу рубил... «Ну чо, – говорю, – по рукам. Будет вам Михайло... В посёлок приведу, а вы уж его принимайте». Зашёл, паря, в кедрач, вот так же патефон завёл. Гляжу, один любитель привалил, присел поодаль. Тут я патефон беру, и – по тропе. И он за мной. Идём. Как пружина в патефоне ослабнет, я опять заведу – музыка наяриват. Медведь плетётся следом, подпеват маленько... А перед посёлком на поляне завёл я Моцарта, медведь прилёт и задремал. Тут его в клетку и заволокли... Жалко, конечно.

Доцент так залиvisto, по-детски захохотал, что шашлычник стал по-медвежьки ворочаться в постели и забористо ругаться. Мы притихли.

– Вам можно сказки писать, – прошептал Доцент и со вздохом прибавил: – А жалко, когда бедных зверей убивают.

– Жалко, – вздохнул и Карнак. – Вот почему я теперичи и не охочусь, больше, паря, на ягоды да на орех кедровый нажимаю... Медведи подсобляют... Мужики же как орех добывают, – колотом³³ несчастную кедрину лупят со всей дурацкой моченьки, а шишка то идёт, то не идёт – ежели дубняк матёрый. Все кедрины, бывало, в труху измачалют листовничными колотами. А я чо делаю... Обмажу кедрины мёдом... повыше только, и сам в зимовьё. На другой день прихожу, шишки уже все внизу, торчат из моха. Собирай, не ленись.

– Как это так? – заинтересовался Доцент, держа наизготовке блокнот и ручку.

– Просто. Медведь надывает на кедрине мёд, ну, и скребётся по ей до мёда, вылизывает. А кедрину так, паря, раскочалят, что шишки аж градом летят. На одной лесине мёд вылизет, на другую переходит. Вот так напару с медведем орех и добываю...

– Ну, это всё байки, а по правде... – Доцент не сводил с нашего красная весёлых, восторженных глаз.

³² Жилуха – жильё.

³³ Колот – деревянный молот, которым бьют по кедром, чтобы падали шишки.

– Байки... – усмехнулся Карнак – Да мне бурундук однажды шишки добывал. Да... Вернее, каюсь, приворовывал я у него. Как-то, паря, подхожу к толстой кедрине, гляжу: бурундук на ветке сидит – тоже орехи добывает. Шишку оторвёт и кинет вниз, а сам глядит, запоминает, куда упала... Вот он, паря, кинул, я подобрал и – в куль свой. Тот другую бросил. Я опять тем же макарком... Бурундук эдак зло прищурился, и-и-и ка-ак бросится на меня!.. Едва, паря, успел отпрыгнуть, а то бы задавил...

Доцент по-детски, залиvisto отсмеявшись, опять пристал к Карнаку:

– Нет, но расскажите что-нибудь про охоту... серьёзно.

– Серьёзно-то... – Карнак снова отпахнул окно, за которым влажно светились в ясной ночи и призрачно мерцали свечовые берёзы. – Верно, наплетут с три короба, а сами живого зверя в глаза не видали. Разве что в зверинце. Вот кого, паря, жалко, так жалко. Доведись-ка любому из нас в клетке пожить – вот навроде больницы нашей, от тоски взвоешь. Я волю люблю, тайгу... Но привыкают... и люди, и звери – все привыкают. Мы в бетонных клетках живём, а высели нас в тайгу – пропадём же без тепла и света, без тёплого сортира... Вот и зверя, того же медведя, который в клетке родился, выпусти его на волю – он походит-походит да назад в клетку и попросится...

И пошли было выплетаться затейливые кружева новой байки, но в это время с возмущённым стукотком каблуков-копытцев влетела наша взбешённая сестра – хохот услышала.

– Вы что, совсем уж! – почти прошипела она, боясь говорить в полный голос. – Вы знаете, сколько сейчас времени?! Если через минуту не успокоитесь, пеняйте на себя. Всё доложу главному – мигом повылетае... Карнаков, сейчас же слезьте с подоконника и закройте окно. И опять в палате курили?!

– Дак не в затыжку, моя бравая.

– Закройте окно, и чтоб через минуту спали.

Карнак взялся было за створки окна, чтоб запахнуть их, но тут же замер, сладко прижмурился, с шумом, всей вздыбленной грудью вдыхая запах волглой листвы.

– М-м-м... – укрыв глаза, в сладостном изнеможении замотал головой, – какой запах после дождя. И черёмуха цветёт... А не погулять ли нам, Танюша?.. Я бы тебе, моя бравая, такие стихи почитал, какие ты сроду не слыхала.

Твои глаза – пронзительная осень.
Сияй, сияй, прощальный свет любви!
Летит с ветвей осинвая озвень,
Но ты её разлукой не зови.

Перебирает солнечные струны
Задумчиво и скорбно старый лес;
Кружа листву, поют речные струи,
Что создан мир из боли и чудес...

Я не шибко подивился на то, что Карнак заговорил стихами, – даже на своём недолгом веку и коротком волоку³⁴ я встречал «бичей», любивших пофилософствовать, залить байку, прохрипеть стих из Есенина либо про Луку-матюжника.

Сестра немного послушала, дивясь на эдакого больного и, кажется, даже против воли завлекаясь в напев стиха, потому что уже мягче велела:

– Закройте, пожалуйста, окно и ложитесь спать.

³⁴ Волок – временная дорога или путь между реками, по которому сибирские первопроходцы волокли небольшие речные суда.

– Кончай базар, – подал скрипучий голос и наш шашлычник.

Карнак тянуче, с едким прищуром уставился на него, и тот вначале было востепенулся, но тут же и сник под напористым, колючим, ничего доброго не сулящим, каким-то дремучим, диковатым взглядом.

– Тут женщины рядом лежат. – Сестра показала на стенку.

– А мы им болеть мешам, – подсказал Карнак.

– Они же завтра на меня пожалуются.

– Ладно, моя бравая, падам... Спят усталые игрушки, мишки спят... – напел Карнак. – Легли?.. Ручки вот так сложили, как покойники. Глазки закрыли, дышите ровно, в две завёртки...

– Зря вы веселитесь. Положение у вас очень серьёзное.

– Очень?! – Он испуганно вытаращил глаза и тут же рассмеялся. – Ничо-о, Таня, ничо. Как батя мой пел: помирать нам рановато, есть ещё сионисты в стране... Нет, Танюша, мы с тобой ещё споём и спляшем. Верно? – он начал потешно вихлять боками, дёргать руками, как если бы держал вожжи, при этом ещё и частушку выдал:

Старичок-покойничек,
Помирал во вторничек,
Ему стали гроб тесать,
Он вскочил, давай плясать...

– Кошмар, цирк какой-то. – Сестра не утерпела и засмеялась.

– Русский мужик – это тебе, Таня, не лекарь-аптекарь клизмы ставить. Русского мужика запросто не свалишь. Он ить, зараза, и в гробе ногой дрыгнет...

– Додрыгались... – многозначительно ухмыльнулся шашлычник.

– Ну всё, ложитесь, – ещё раз умоляюще попросила сестра и, сердобольно покачав головой, вышла из палаты.

Когда дверь с тихим скрипом притворилась, Карнак – он, кажется, боялся замолчать, остаться один на один со своей бедой, – протараторил нам ещё несколько частушек, какие в народе зовут соромными, потому что не рассчитаны на нежные девичьи уши. Соромные я почти все призабыл, а вот про двух нерусей осела в памяти мстительным осадком, да простит Господь; но больно уж много в ней таилось кровавого смысла:

Едет Троцкий на козе,
Свердлов на собаке,
Троцкий Свердлову сказал:
– Мы с тобой казаки.

Опять возмущённо заворочался в кровати, заскрипел пружинами наш шашлычник, и укушенные, посудачив шепотком, вернее, послушав ещё баюнка-охотника, потихоньку, под нудное, что капель из худого рукомойника, бурчание шашлычника наконец угомонились.

* * *

Снился мне цирк... Медведь в русской расшитой по вороту рубахе, зажав в лапах бутылку, хлещет сивуху прямо из горла, потом берёт гармонь и, отчаянно развалив меха, наявливает «комаринского». Публика ржёт, уливается, а лица – бледные пятна с чёрными провалами ртов. Подле медведя в ночном до пят плаще с красным подбоем, в чёрной ермолке суетится дрессировщик – на обличку не то врач Ребенок, не то наш шашлычник, чернявый и

курчавый, носатый мужичок, не то злодей Свердлов либо Троцкий. Мельтешит дрессировщик перед медведем, то сахарком побалуует, то бичом ожжёт; и вот вроде все терпение у медведя вышло, заревел тот обиженно, бросил гармонь, лягнул ногой бутылку и пошёл восвояси. Но чернявый, визжа не по-русски, выхватил кривую секиру и оттяпал медведю лапу...

И вот уже ночная деревенька подле леса; стылый месяц, синеватый снег и длинные чёрные тени от заплотов и ветхих изб; свет погашен, окна темны, будто избам выжгли глаза. А на отшибе у самого леса красуется избушка на толстых курьих лапах, и там возле горящего камина сидит в затейливом кресле всё тот же чернявый; сутулится, глухо укутавшись плащом, и читает книгу, разложив её на коленях, – книга в чёрном переплёте, а в книге сплошные закорючки, звёздочки. Топится камин, кровавые отблески огня плещутся по замшелым стенам, паутинным углам; на жарких углях бурчит варево в котле, и баба, похожая на ведьму, то помешивает поварёшкой в котле, то прядёт шерсть, поплёвывая на пальцы и таинственно бормоча себе под нос. А по деревне, по синеватому снегу, мимо чернеющих изб ковыляет медведь, тяжело опираясь на деревянную клюку и подволакивая липовый протез. На нём всё та же русская, расшитая по вороту, рубаха. Бредёт медведь-инвалид по спящей, будто вымершей, деревне и хриплым, отчаянным, грозным голосом причитает:

Скрип-скрип-скрип липова нога,
Тук-тук-тук деревянна клюка.
А земля-то спит, а вода-то спит,
Одна баба не спит,
На моей шкуре сидит,
Мою шерсть прядёт,
Моё мясо ест...

И правит медведь прямо к избушке на курьих лапах...

В сказке медведь задрал мужика с бабой, и, может, так же случилось бы в моём сне, но я неожиданно проснулся на краю ночи и увидел взлохмаченный силуэт возле открытого окна, печально и одиноко чернеющий на фоне жёлто-белой отёчной луны. Мне трудно было разобрать в мутном, реющем свете лицо Карнака, хотя и приблизилось, что тот плачет – такая знобящая мою душу печаль была во всей его обмягшей, присутуленной спине, в опавшей на грудь голове. Потом, даже оторопев от такого дива, я увидел, как он трижды бережно перекрестился, после чего мне отчётливо услышалось:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного... – повторив трижды Божьё слово, ещё что-то шептал в захлёб, но уже нельзя было понять слитый в шелест, быстрый говор.

* * *

Первым из палаты увезли нашего бедного шашлычника, и, когда до нас долетела горькая весть, мы искренно переживали, напрочь забыв о былой неприязни, и даже исподтишка, молча помянули его: «Царствие ему небесное, прости, Господи, его пригрешения вольные и невольные...» А в тот день, когда меня выписывали, Карнака, мокрого от пота, впадающего в беспмятство, перевели в отдельную палату – помирать, как мы прикинули про себя. На прощание он без всяких пояснений сунул мне тоненькую, размером в мужичью ладонь, книжечку стихов, и каково же было наше изумление, когда мы прочли на обложке его фамилию – Ефим Карнаков, когда увидели на карточке его скуластое, хитроглазое, не то брацковатое³⁵, не то тунгусо-

³⁵ Брацковатое – от слова «братские», то есть буряты.

ватое лицо. Книжку листали, читали по кругу даже те, кто шарахается от поэтических сборников, как от чумы; читали вслух и про себя; и веяло от стихов смолистым сосновым духом, гудели в поднебесье кедровые вершины, пели на синеватом рассвете божьи птахи, лаяли на хребтах могучие гураны³⁶, и стелился по-над чушачьим багулом, над мхами и кошкаррой сизоватый дымок костра, и тоненько сипела, кружила хвоинки закипающая вода в котелке.

В городе шумном осень
Жар-птицей по скверам скачет;
Никто обо мне не спросит,
Не вспомнит и не заплачет.
А здесь, над прозрачной Русью,
В снега, где живу теперь я,
Весь день голубые гуси
На счастье, роняют перья.

Я перечитал это стихотворение раза два, как бы чуя в нём вещее и печальное провидение самого поэта.

Перед тем как выйти на волю, пытался пробиться в палату Карнака, но безпрокло. Лишь видел мельком нашу сестру Татьяну, сидящую возле бледного парня, под самой системой-капельницей, что-то тихо и ласково говорящую ему, низко склонив голову.

Когда меня освободили из больницы, я, грешным делом, недолго переживал за Карнака, недосуг было, – я кочевал с семьёй в деревню на долгое жительство. Слепыми степными вечерами, под волчий вой пурги, я нет-нет, да и листал книгу безунывного поэта, вычитывая строки, павшие на душу.

Ослепший дом – на брёвнах накипь солнца.
За полем обомшелые кресты.
Как дикий конь, в лугах туман пасётся,
Седая грива льётся на цветы.

.....

Чайка над милым селом
Солнечным ангелом вьётся,
Всё, что мы видим кругом,
Родиной нашей зовётся.

И, может быть, этот баешный парень, стихотворец замутился бы в моей памяти, но такое случилось диво дивное, когда после нескольких зим и лет, оказавшись в Иркутске и залетев на большой поэтический вечер в городской театр, я вдруг увидел его целым и невредимым, – видимо, ещё не исполнено его назначение, заради которого далась ему жизнь и был дарован певучий голос, чуть приглушённый, хвойно-мягкий, вкрадчивый и потайной, будто свет в закатном сосновом лесу.

Народу в театре набилось битком – любили тогда поэтические вечера, и Карнак в верблюжьем свитере чуть не до колен, с отвисшим воротом, но всё такой же ладный, крепко сбитый, стоял посреди сцены, а будто у своего родного села на солнопёчном угоре, и читал, рукой отмахивая строки в сумеречный зал.

³⁶ Гураны – дикие козлы.

Хорошо у нас в зимовье!
Печь в углу красна от жара.
И к столешне изголовьем
Возле стен приткнулись нары...
Сохнут мокрые обутки,
Рукавицы, опояски...
Сыпь, напарник, прибаутки,
Я – охотничьи побаски!

Пока он, простежки почёсывая затылок, ероша волосы, прикидывал, чтобы ещё вычитать, к самой сцене пробилась девушка с цветами, и она ещё не обернулась лицом к народу, а уже почуял: Татьяна, сестрица наша.

Яро вода клубится
В покатых грозных рек.
Талая голубица
Сок пролила на снег.

.....

Падает с кердра озимь.
Калтусы – голубы.
Звякают звёзды оземь
И о сохачьи лбы.

Он читал с высоких подмостков, и люди гулко хлопали, а мне поминалась наша больничная палата, и окно в мягкую, влажную ночь, хмельно пахнущую черёмуховым цветом и хвоей; и ночь таяла на глазах, и тихое, желтоватое вызревало утро.

* * *

Давным-давно сочинил я потешный сказ, словно охотник после промысла, забородатевший по самые очеса завиральными байками, которые якобы заливаает матёрый таёжник по прозвищу Карнак, – что значит, природознавец и природолюб. Потом вдруг выясняется, что безунынный потешник, дивом сохранивший в городской сорочьей трескотне сочный, солонувато-крепкий деревенский говор, ещё и поэт. Прообразом Карнака стал Анатолий Горбунов, дивный русский поэт-лирик, избранные стихотворения которого, будь на то моя воля, без всяких оговорок я поставил бы в антологию русского стиха двадцатого века, близкого по духу и слову нашей величавой народной поэзии.

Анатолий Константинович Горбунов родился на Лене-реке в деревне Мутино Киренского района Иркутской области; рос в большой семье, рано пошёл работать: пастушил, пилил лес, плавал на пароходе кочегаром, несколько лет пахал в авиации – вроде лёдчик: лёд долбил на взлётной полосе. Стихи печатал в сибирских и столичных журналах. Автор книг, выходящих в Иркутске и Москве: «Чудница», «Осенцы», «Тайга и люди», «Звонница» «Перекаты». Живёт и процветает Анатолий... дай ему бог многая лета, многая здравия... и поэтический талант таёжного певца не сохнет, не вянет, а, когда пишутся эти строки, поэт издаёт сразу две книги стихов – для взрослых и для малышей. Меж стихами удит рыбу, бродит по тайге... А вот Карнак, герой моего трагикомического сказа, к сожалению, гибнет...

...И когда сказ в черновом виде увидел свет в «малолитражной» газете, прихожу я в Иркутский Дом литераторов, встречает меня Нелли Семёновна Суханова, ворчливая, но хлопотливая хозяйка, на плечах которой испокон своего века и держался писательский приют, похожий на богадельню и странноприимный дом. А как же не будешь ворчливым, ежели, что греха таить, любят писатели-приятели крепко выпить, а выпимши, покуралесить? И Анатолий Горбунов, как и ваш покорный слуга, увы, не исключения... Так вот, встречает меня наша хозяйка, хвалит сказ, и мне лестно, ибо такие писатели на её глазах вызревали: Вампилов, Распутин... Начал я было таять в похвалах, словно воск на солнышке, а на башке лавровый венок вырос и уж почти забронзовел, как Нелли Семёновна возьми да и осадит меня в лужу: дескать, наврал ты, парень, в конце; промашка вышла: такие мужики вроде Тёркина в чалдоничьем обличье или шукшинского чудика, такие гибнуть не должны. Но если один помер, другой должен народиться, дабы нам, грешным, не унывать, не замерзать душой даже в крещенскую сибирскую стужу.

Послушал я Семёновну, возгневался в душе: «Какой-то бухгалтеришко будет мне пальцем тыкать, где соврал, где промахнулся!» Но потом прикинул хвост к носу: «Верно же сказано, не должны такие мужики гибнуть за понюшку табака от какого-то позорного клеща». Подумав же, решил переписать сказ, оставив Карнака жить, стихи творить, в тайге бродить, и нас, унылых, веселить. К сему, что отраднo для вечно измаянной писательской души, поэт Анатолий Горбунов признал себя в балагуристом таёжнике и, шибко уж суровый к чужому творчеству, похвалил, но просил не губить Карнака. Ну, что ж, живи, мужик, утешай унылый люд...

1989, 1991, 2000 годы

ОЧарованная явь Подлёдный лов хариуса на Байкале

Памяти брата, Александра Байбородина

Сколь уж зим пустомельных блажил я о подлёдном лове хариуса на Байкале, но отупляющая, опустошающая душу житейская колготня, пропади она пропадом, волчьей хваткой держала в своих цепких когтях. Буреломом городились поперёк рыбалки бесчисленные деладелишки, коим не виделось ни конца ни края. Но однажды Ефим Карнаков все же сомустил меня на зимнюю байкальскую рыбалку и почти силком вырвал из клятой житейской суеты.

Выросший в забайкальской лесостепи, на берегу тихого озера, я, словно Божии небеса, не вмещал в лесостепную глухоманную душу величавое море, а не вмещая, не сроднился с морем-озером и не смог запечатлеть в слове. А худо-бедно лет десять отжил в таёжном распадке, неподалёку от байкальского берега, и, случилось, любовался байкальской лазурью в тени скал, напоминающих богатырских ящеров, миллионы лет назад окаменевших на берегу Байкала и растревоженных пагубной человечей суетой, и вдруг оживших и утробно взывших, запрокинувших звериные головы. Видел я Байкал седой и грозный, тихий и ласковый, купальски тёплый и крещенски морозный, ледяной; бывало, покоится тихий, яко распаренный в солнечной бане, и даже лёгкая рябь не морщит озёрный лик, и вдруг, падши с хребта Саянского, грянет из Тункинской долины ветер-култук, либо разыграют сарма, баргузин, когда, словно дикие свирепые кони, летят ярые валы и, вздыбившись у скалистых берегов, взмётывают к небесам белые гривы.

Помнится, в эдакий шторм маялся я на старом «Комсомольце» – доживающем долгий век байкальском теплоходе, который то вскидывался к низким грозным тучам, то падал с крутой волны в бурлящую бездну... Собрался в журналистскую командировку из районного села Нижнеангарск в рыбацье селение Байкальское; ладился обудёнкой – на денёк без ночёвки, а лишь на третий день «Комсомолец» чудом причалил в усть-баргузинском порту. Помнится, сидел на берегу притихшего моря... белый туман клубился над морской гладью и уплывал в синее небо... сидел я на ошкуренном сосновом кряже, вяло жевал печенье, купленное на последние командировочные гроши, подкармливал сивобородого прибрежного козла, который сочувственно кивал головой, слушая мои жалобы. Слово древний козел и присоветовал: поплёлся я, оголодавший, в усть-баргузинский сельсовет просить Христа ради копейки, чтобы на «аннушке» перелететь из Усть-Баргузина в Нижнеангарск.

Хотя и не сроднился я с Байкалом, а манило к морю-озеру, вот почему, плюнув с высокой колокольни на бесконечные и неотложные заботы-хлопоты, я и рванул с Ефимом Карнаком на подледную байкальскую рыбалку, словно с пылу с жару нырнул в студёную морскую воду, и сладостно защемила, потом вольно отпахнулась душа, истомлённая городским зноем.

И вот уже позади усталая земля, впереди мартовский Байкал.

То ли сон, то ли очарованная явь: неземное безмолвие; ледяная степь в снежном покрове, широко и вольно утекающая в блаженно синее, вешнее небо; искристая бледность суметов на солнопёке, от которых ломит глаза и вышибает слезу; странные и бесплотные видения среди миража; приманчиво зеленеющий на облысках нагой лёд, выскобленный ветром, и торосы, бескрайними, вздыбленными грядами раскроившие озеро вдоль и поперёк.

Баюкая, навевая ямщицью дрёму и сладостную грусть, от темна до темна маячила перед нашими глазами ледяная степь. И так три дня, пока мы через Малое Море, заночевав на острове Ольхон, потом – на мысе Покойники, где ловили бормаш – приваду и прикормку для хариуса, скреблись к Ушканчикам. Ушканчики... Так умиленно величают на Байкале северные островки, где, баяли рыбаки, водилась уйма зайцев, ушканчиков, по-здешнему.

Когда наши две «легковушки», вспоров шинами закрепший наст, взяли в пушистых суметах, то нам приходилось – словно озёрный хозяйнушко кружил – загибать многоверстные крюки, объезжая щели, дышащие мрачно-зелёной потайной водой; щели встречались узенькие, какие мы проскакивали махом, и пошире, которые нужно было огибать. Через одну из них, так и не доехав до её конца или начала, нам пришлось прыгать.

Хозяева машин, высадив нас, рыбаков-попутчиков, и, может быть, про себя крестным знаменем заслонив свою жизнь от напасти, изготовились к прыжку; и если одна машина, где посиживал за рулём удалой парень, легко перемахнула щель, то другая, где правил пожилой степенный мужичок, грохнулась задним мостом на край полыньи, зависла над пучиной и лишь потом... мы стояли бледные... с натужным ноем, испуганным стоном выползла на лёд. Мужичок... Гаврилычем звать... выпал из машины огрузылым кулём, белый, как снег, и долго стоял, томительно приходил в себя, пугливо косясь на щель, которая, блазнилось, ширилась на глазах, манила к себе, и в ней с хрустом и тоненьким льдистым перезвоном поплёскивалась расстроенная пучина.

– Не-е, мужики, видал я такую рыбалку в гробу в белых тапках! – Гаврилыч матюгнулся и потрянул головой, словно от озноба.

Ефим Карнаков, или просто Карнак, по-байкальски прищуристый, забуревший на озёрных ветрах скуластым лицом, жалостливо спросил:

– Ну чо, Гаврилыч, в штанах-то сухо?

– Тьфу на тебя!.. – Старик осерчал и сплюнул через левое плечо, чтоб угодить в нечистую силу, и, кряхтя, полез в машину.

Подмигнувши нам, сунулся туда и Карнак и, лёгкий на слово, беспечальный, потом всю дорогу потешал нас, посмеивался над Гаврилычем, разгоняя дорожную скуку.

* * *

Потом мы вздыхали о тяжкой доле нынешнего рыбака. Всё маетней и маетней даётся любителю-удильщику даже некорыстная рыбалчишка: всё меньше остаётся укромных, уловистых, диких вод, про какие Карнак хвастал: дескать, край непуганых рыб и бичей; да и сама рыбка, особенно речная да вот ещё байкальская, чтобы выжить, стала шибко хитрой, не в пример досельной, неразборчивой, прожорливой, готовой клевать и на голый крючок.

– Откуль же рыбе-то путней быть, коль вы угробили природу?! – укорил нас Гаврилыч.

Карнак огрызнулся:

– А ты, Гаврилыч, в космосе ошивался... Гляди-ка, мы природу гробили, а он бороздил воздушный океан...

– Не жалеете свою землю, нехристи поганые, – ворчал Гаврилыч, тиская руль, настороженно высматривая едва набитую среди суметов колею, иссечённую морщинами.

– Да-а, нету ранешней рыбы... – загрустил было Карнак, но тут же и повеселел, припомнив или уж на ходу сочинив байку завиральную. – А бывало, от ленка и хариуса кипели речки. Да... И до чего дикая была рыба... Помню, шатался я, паря, на Северном Байкале... Груза сопровождал. Там как раз БАМ³⁷ зашевелился... И вот прилетел из Нижнеангарска в Уоян. А с Уояна махнул ещё вёрст за тридцать в тайгу, в край непуганых рыб и бичей. От, паря, где рыбалка-то была!.. Там бригада мост через речку ладила, ну, я к ним и припарился. А дело вышло по весне – багульник на сопках зацвел, проталины на речке... Ну, приехал, паря. Гляжу я, это, а у мужиков прямо на бельевой верёвке ленки да харюзя вялятся. От, думаю, дурья моя голова, а!.. не смекитил удочки взять... Ну чо, паря, делать, давай у мужиков шукать. Дали мне уду, а крючок голый.

³⁷ БАМ – Байкало-Амурская магистраль.

«Ловко, – говорю, – уж и на голый крючок берет...»

«На советский...» – отвечают.

«Какой ишо советский?» – спрашиваю.

«А такой... Вон от флага лафтаки отдирам, наматывам – и вроде клюёт...»

А я и то, паря, диву дался – висит над вагончиком флаг, не флаг – рваная тряпка, мочало.

Смехом ещё спросил:

«Какая тут власть, мужики?» – и на флаг кажу.

«Закон – тайга, – говорят, – медведь – прокурор».

«Ну, тогда ладно, мы к медвежьей власти привычные. Верная власть...»

Но чо делать?.. Прости, говорю, родная партия и советская власть – нужда прижала...

Да и клочок оторвал от красного флага...

– При Сталине бы к стенке поставили, – вспомнил Гаврилыч, – и поделом: кто не чтит родную власть, тот и Родину предаст за тридцать сребреников...

Карнак пустил мимо ушей суровое напоминание.

– И веришь, Гаврилыч, намотал красну тряпицу на крючок, и тока, это, в проталину уду бросил – ленок из-под льда ка-ак даст!.. Едва жилку не порвал. На три кила потянул... И мигом я, паря, с полкуля накидал. А ленки-то, ленки-то, Гаврилыч, во!.. – Карнак на полный отмах раскинул руки. – Тебе такие не снились... Поклонился я красному флагу и кормилице нашей советской власти...

– Мели-и, Емеля, твоя неделя, – отмахнулся Гаврилыч. – Язык-то без костей. Вот таких, как ты, Ефим, и зовут – холодные рыбаки. Которые на языке ловить мастера. Сядут за стол, винища надуются и таких ловят харюзей, что диву даёшься! А как до дела – удочку-то не знают за какой конец брать. Живого рыбьего хвоста не видали...

– Ничо-о, Гаврилыч, будем посмотреть, кто кого переудит. У меня нынче такие мушки – твоим-то и делать нечего возле моих... Таковую закуску сгношил – сам бы в охотку слопал... До третьих петухов шаманил с этими мушками – куколки вышли – любо-дорого поглядеть, а того дороже – заглотить... Но ничо-о, два-три пуда всяко разно добуду...

Гаврилыч снисходительно покосился на хвастливого Карнака:

– Кулей-то мало взял... вранье собирать.

Карнак засмеялся:

– И вот, Гаврилыч, до чего же на Уояне рыба дикая жила – как бык, на красну тряпку кидалась... А теперичи и не знаешь, какую нитку ей, холере, намотать... У меня братан... тоже рыбак заядлый... так у него этих ниток – вагон и маленька тележка. А ему всё мало. Как-то с им в очереди стояли за эфтим делом. – Карнак лихо щелкнул себя в кадык. – Вижу, братан мой к девахе вяжется. Хотя и женатый, паразит... А парень из себя бравый, кудрявый. Деваха-то и разомлела, глазками постреливат. А братан ей: мол, девушка, можно вас попросить?.. Девка лыбится, как сайка на прилавке, глазками поигрывает: дескать, можно, если осторожно.

– Тут, значит, такое дело... – братан ей толмачит. – Короче, можно я у вас из шарфа пару ниток выдерну? Я, мол, рыбак, мне бы такую нитку на крючок намотать. Мушку замастрячить... на харюзей...

Но тут, паря, девица аж взвилась:

– Ты, – говорит, – не рыбак, а чудак...

А братан ей:

– Ишь, какие мы нервные... Ну, ежели хочешь, можем и выпить, посидеть... Но сперва бы ниточку из вашего шарфа...

Деваха фыркнула: дескать, пошел-ка ты... козел душной!

Крепко обиделась, бедная... Так вот, в добром шарфе либо в путнем свитере лучше к братану не ходи – мигом нитки повыдёргиват...

Слушал я Карнака и тянул свою вялую обиженную думу: да-а, теперь, когда речки поугробили где вырубками в устьях, где сплавом, где пахотой, когда рыбы осталось с гулькин нос, это же художником надо быть... народным, чтоб обмануть омуля либо того же хариуса. Это же надо со всякими оттенками, в четыре нитки намотать мушку, потом расчесать гребешком, распустить, да так приглядисто, так вкусно обманку сгоношить, что вроде и сам бы клюнул за милу душу... А так и выходит: хоть сам и потчуйся таким гостинцем вместо хариуса.

* * *

На Большом Ушканьем острове жил о ту пору мой приятель – за погодой присматривал, чтоб не шалила, а по весне нерпу промышлял, слыл он и добрым знакомцем Карнака, потому мы и дунули на заячьи острова. Михайло Скворцов, так звали приятеля, поменявший столичную жизнь на глухоманную, умудрился на острове выращивать кабанчика; но когда мы, открыв тяжкую дверь, обросшую снежным куржаком, спустились в сырую землянку, открыли калитку в тесный загончик, на нас кинулся обросший густой шубой, тощий зверь со зловеще горящими глазами; едва успели выскочить и запереть калитку. Вот до чего приятель довёл скотину, озверела от голода, обросла от холода... Вечер я провёл у мужика, коренастого, копчёного, что жил в том же бараке, через стенку, шил собачьи унты, пил чифир, вспоминал, пожизненный каторжанин, лагеря за колючей проволокой, и от скуки, похваляясь передо мной, ловко кидал нож в дверь, и без того изрешечённую, при сём толковал: «Я же, паря, не русский, я – казак. Отец мой такую силу имел, что даст в лоб дурному быку, бык на колени падал, и вся дурь слетала...»

Когда утихло говорливое вечернее застолье, мы с приятелем до третьих петухов колдовали над мушками, и вышли обманки, чисто куколки, любо-дорого поглядеть, а того дороже – заглотить. Мужики той порой раскинули спальники вокруг русской печи и готовились ко сну.

– Ишь, небо-то вызвездило – с утра прижмёт мороз. – Гаврилыч пришёл со двора, и, по-стариковски кряхтя, вздыхая, полез в спальник. – Поморозим сопли на льду. А ежели хиус или сиверко³⁸ задует, дак и вовсе проберёт до костей. Овчинная доха не спасёт...

– Ничо-о, дело привышное, – махнул рукой Карнак, сидя на спальнике. – Лишь бы рыба тянула, лишь бы фарт гузном не повернулся... Будет тому фарт, кто с бабой перед рыбалкой не грешил. А ты, Гаврилыч, опять не удержался, опять баушку к печке прижал...

– Тьфу на тебя, ботало коровье, – привычно и беззлобно сплюнул Гаврилыч и отвернулся к стенке.

Выехали ни свет ни заря; перебрались с Ушканчиков под самый коренной берег, задолбились в торосах, кинули по жмене бормаша³⁹ в лунки, и пошли тут мои напарники тягать хариусов – благо и глубь с локоть – а у меня молчок, хоть рёвушком реви. Уж и совал хариусам под самый нос мушку, когда ложился среди замерших ледяных заломов, когда и азартно, до забвения, до сонного беспомыслия разглядывал, как, темнея спинами, бродят взад-вперёд степенные хариусы, – чудилось, опусти руку в лунку – и хватай их за жабры; потом и бормаша вывалил им с три короба, и мушкой поигрывал и так, и эдак – всё впустую, даже и глазом не ведут. Правда, один здоровенный такой, которому я назойливо совал мушку, даже на спину клал, которому я вслух жадно и моляще шептал: дескать, клюнь, милок, клюнь, чего тебе стоит, а мне радость, – вот этот хариус прищурился, взгляделся в мою мушку, пошамкал беленьким ртом, усмехнулся, мол, поищи дурака в другом озере, – да как саданёт мушку своим матерым хвостом, та аж прилипла ко льду, а я с перепугу даже шатнулся от лунки. От варначьё, едрит твою налево!.. – матюгнулся я в сердцах, потому что злая меня охватила досада.

³⁸ Хиус, сиверко – студёный северный ветер.

³⁹ Бормаш (бормыш) – мормыш: пресноводный рачок-бокоплав рода *hammagus*, известный в Прибайкалье, Забайкалье, Якутии.

Побранил я варнака, побранил, да и махнул рукой на холодную рыбалку, пошёл считать ворон, что слетали с безмолвно чернеющих прибрежных листвяков и, оглашено каркая, вились над лунками Гаврилыча, где заколодевшие, припорошенные снегом, топорщились хариусы, будя во мне лютую зависть.

Обленившись, перестал я расчищать свою лунку, затянутую снежным куржаком, и лунка подёрнулась тоненьким ледком. А жилка, замороженная, вся в катышках, торчала кривой проволокой; и не верилось в чудо чудное, что она может вдруг пружинисто натянуться и заиграть над клюнувшим хариусом. Пробегая мимо меня к машине, Карнак сочувственно спросил:

– Ну, как, паря, рыбка плавает по дну, хрен поймаешь хоть одну?

Видимо, я слишком мрачно, обиженно глянул на него, потому что Карнак стал утешать меня:

– Ничо-о, терпи, казак... вернее, рыбак. Терпи... Жди... Жди, жди – рыба должна подойти.

И уметелил. А мне ничего не оставалось, как, одолев гордыню, брести на поклон к Гаврилычу – тот удил неподалёку – и просить его из милости, чтоб показал свою мушку. Гаврилыч, уже подхваченный суетливым, трясским азартом, быстро сунул мушку к самым моим глазам, и не успел я толком разглядеть, как тут же и кинул ее в лунку.

Эдак тянулось до обеда, и я, не добыв и захудалого хвоста, сидел возле лунки туча тучей. А когда собрались чаевать, Гаврилыч с едва угаённым самодовольством важно поучал меня, сжалился, сердечный:

– Надо, Анатолий, такую мушку накрутить, чтоб на бормаш личила и чтоб красивше бормаша была, и тогда... и тогда же, холера, брать не будет, тово-ново бы ей на лопате.

Доступно растолмачил, и все стало ясно – надо хариусам тово-ново на лопате...

– А вот я, мужики, на Тихом океане удил, – припомнил Карнак.

– И кита заудил, – улыбнулся молоденький паренёк, хозяин легковушки, по фамилии Кот.

– Зачем кита? Тоже на подлёдном лове, в Амурском заливе... У меня брательник во Владике живёт, тоже рыбак добрый, вот он меня и вытащил на рыбалку. А я перед тем брательника спрашиваю: дескать, как на Тихом океане-то рыбачат?.. На что ловят: на мушку, на бормаш, а может, на блёсенку?.. Да-а... – рукой машет, – у нас на Тихом океане рыбачат точь-в-точь, как у вас на Байкале: приезжаешь, открываешь, наливаешь... можно чокнуться.

Кот, услышав про «открываешь, наливаешь», тут же азартно потёр руки:

– Что-то ноги стали зябнуть, не пора ли нам дерябнуть?

Карнак, выпить не дурак – мастак, неожиданно поморщился:

– Сам не буду и вам не советую. Лучше чаю горячего.

– Верно, по рюмочке чайку... за рыбацкий фарт.

– Вы как хотите, а я не пью...

– За уши лью...

– Почему? Выпить можно, ежели осторожно. А на рыбалке я не пью, извини уж, да-рагой... Рыбалка... Тут уж, паря, выбирай: либо рыбу ищи, либо водку глуши. Так от... А водку пьянствовать можно и в городе, ежели в кармане бреньчит... ежели деньга ляжку жжёт. Охота на природе – махнул на дачу, под малину залез – и поливай ее, родимую... пока не сдохнешь... А на рыбалке же как? Выпьешь, потом ходишь, как чума огородная, – не рыбалка уже, а... Добрая рыбалка, паря, она ить покрепче водки и послаще бабы...

– Так уж и послаще... – игриво повёл плечами Кот.

– Послаще... Недаром о рыбаках поют: кто женой не дорожит, тот над луночкой дрожит...

* * *

Напившись горячего чая из термоса, сменил я мушку по совету Гаврилыча и уже веселее потопал к своим лункам, чтобы если и не удить, то хотя бы зариться на этих зажавшихся поросяй, когда они, набежав, быстро склёвывали бормашей, которыми я щедро, словно на откорм, потчевал их.

Гаврилыч же ворон не считал и не дивился на хариусов; что-то подшаманивал со своими удами да всё подёргивал, потаскивал рыбу, расхаживая промеж добычливых лунок. Я же, горемычный, чтобы вновь не запалить в себе обиду до слёз, старался лишний раз не глядеть в его сторону, хотя всей озябшей на хиусе спиной остро и отчётливо чувял, как вымётывал старик очередного хариуса.

Я, кажется, призабылся и плыл сквозь ласковую тёплую дремоту; вспоминалась летняя рыбалка на родных Еравнинских озёрах, потом – моя маленькая дочь, по которой я скучал, даже если расставался на день; потом в дремотном воображении стал нарождаться рассказ об этой рыбалке... и вот тут услышал истошный матерный крик Гаврилыча...

Верно баят добрые люди, что и на старуху бывает проруха: пока Гаврилыч удил возле меня, с крайней лунки вороны украли чуть ли не с десятков рыбин и перетаскали к себе в прибрежный лес. Одна ворона как раз и греблась к чернеющим листьякам, держа в клюве хариуса, который взблёскивал на ярком, но холодном солнце.

Матерясь на чём свет стоит, размахивая медным сачком, каким вычерпывают ледяное крошево из лунок, потрусил наш старик оборонять оставшихся хариусов и долго потом клял ворон и весь их варначий род до десятого колена и суетливо пихал оставшуюся рыбу в крапивный куль. А варначьи птицы, как он их в сердцах окрестил, всё кружили и кружили над его бедовой головой или похаживали рядом, подсакивали, будто носимые ветром, да, кося лукавыми цыганскими глазами, каркали. Сначала благодарно: «Кар-р-р, Гавр-р-рилыч, благодар-р-р-ствуем!..» Потом властно и настырно: «Кар-р-р, кар-р-р, Гавр-р-рилыч, Гавр-р-рилыч р-р-рыбы, р-р-рыбы!..»

Что уж греха таить, тут я повеселел, даже оттепил, глядя на Гаврилыча, который ругался с воронами и казал им то кулак, то яростный кукиш, потому что ворьё изловчилось и с другой лунки упёрло пару рыбин. Наконец Гаврилыч устал лаяться, пристыдил ворон и даже пушнул в них снежным комом, но чёрные птицы, словно дворовые куры, просящие зерна, ходили за ним по пятам, провожая от лунки к лунке.

* * *

Ловили Гаврилыч с Карнаком, ревниво косясь друг на друга, – кто кого переудит, а мы с Котом зарились на фартовых рыбаков, томили душу. Приятель мой, житель Ушканьих островов, с которым мы крутили беспроклые мушки, поудил с утра и, плюнув в лунку, уехал домой на мотоцикле. Кот начал злиться, и тогда Карнак сунул ему свою самую, как он побожился, рабочую мушку и посадил на самую рабочую лунку; и пошёл тот тягать хариусов, пока не оборвал крючок после резкой, заполошной подсечки. Карнак побурчал, но оторвал от сердца ещё одну мушку, тоже вроде ходовую. Вообще, у рыбаков такое в заводе, чтобы каждый сам беспокоился о своих удах, и у редкого можно выманить ту же мушку прямо на рыбалке. И не жадность тут вроде, а рыбацье суеверие – и суеверие давнишнее.

Я каким-то дивом всё же выдернул пару хариусов-задохликов, и как отрезало – видимо, только и плавали в Байкале две дурные рыбёшки, сдуру и сослепу клюнувшие на мою уду. Верно рыбаки посмеиваются над собой: дескать, на одном конце червяк, на другом дурак...

Дурак... И тут неожиданно и живо увидел я на одной из лунок взъерошенного волка, опустившего хвост в воду и довольно хвастливо озиравшегося, ждущего поклёвки. Затосковавший от безрыбья, озябший волк был так похож на меня. Потом я увидел, как его – или меня?.. – замороженного, хлещут бабы коромыслами, как он – или опять же я?.. – лишившись хвоста, с обиженным воем трусит по заснеженному льду, и одна лишь дума распирает его жаркий череп: ну, лиса, етит твою налево, доберусь я до тебя, выделаю шкуру... А уж после привиделось, как по-над берегом плетётся кляча, седая, в снежном куржаке, запряжённая в сани, и лиса за спиною дремлющего старика Гаврилыча выкидывает рыбеху на просёлок...

Я уже отупел от такой скудной рыбалки, перестал ощущать себя среди синеватого снежного безмолвия – кто я и где я?.. – и, положив про себя на музыку, распевал на все лады, уже и не чуя, и не слыша песни:

Кто женой не дорожит,
Тот над луночкой дрожит...

Вот и жена помянулась тёплым редким словом: «Эх, – думаю, – какой лукавый понёс меня на зимнюю рыбалку за сотни верст, чтобы сопли здесь морозить, посиживал бы сейчас возле жены, попивал чаек...» От скуки решил я сходить в береговой лес, глянуть в заметённую снегом зимовейку, какую чудом высмотрел под кривыми листвяками; и когда я проходил мимо Карнака, тот вдруг замахал рукой, подманивая к себе.

– Ты глянь, паря, чо деется на белом свете! – удивлённо пуча глаза, заговорил он и показал мне мушку. – Дал мушку Коту, Кот её сдуру оборвал, а счас вытаскиваю хариуса, гляжу – мать тя за ногу! – у него две мушки торчат из пасти. Моя и та, какую дал Коту. От ловко, дак ловко... Всю жизнь рыбачу, но такого... Ежели губу поранишь, рыба потом близко к удам не подходит. А тут прямо с оборванной мушкой – крючок аж в губу впился – и другую мушку хватать. А я её сразу узнал – она у меня самая рабочая...

И то ли я шибко жалобно глядел на фартовую мушку, то ли сам Карнак от удивления расщедрился, но только всучил он мне эту пёструю обманку: дескать, на, лови, парень, нам не жалко. Схватил я добычливую мушку тряскими руками и бегом до своих лунок.

Не видать бы мне рыбьих хвостов как своих ушей, вернуться на Ушканчики с полыми руками, если бы не эта мушка, – спасибо Карнаку, – на которую я успел до потёмок выудить десятка полтора добрых хариусов.

* * *

А уж мягкие, исподвольные сумерки распушились и вызрели в чернолесье среди однородных, печальных листвяков и крученых берёз, редко и коряво торчащих среди топкого снега; вечерняя тень с рысёй вкрадчивостью сползла с крутого яра в ледяные торосы, где ещё плавал рассеянный закатный свет, и будто пеплом стал укрываться засиневший напоследок снежный кров. Тишь была полная, неземная...

Мы ещё постояли возле машин, прощаясь с гаснущим днём, поминая его добрым словом, кланяясь озеру. Карнак вздохнул, как бы освобождаясь от рыбацкого азарта, и сказал:

– Ну, слава богу, поймали маленько, и на том спасибо, Господи. И дай бог, чтоб завтра клевало.

Набело смывается в памяти случайное, будто слёзной байкальской водицей, и от зимней той рыбалки мало что запомнилось, но осело навечно ощущение полного, голубоватого, снежного покоя и безмолвия, когда наши утихомиранные, полегчавшие и осветлённые души парили в синеве вешней и дремотно нежились над спящим озером.

1987 год

Блажь

*Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен,
и тогда тысячи души спасутся около тебя.*

Преподобный Серафим Саровский

Лёша Русак собирался в тайгу порисовать – художник же, а попутно и брусники, черники набрать – таёжник, в тайге родился и вырос, хотя давно уже горожанин, иркутянин.

– ...Опять ты в тайгу наладился?! – привычно, абы уж отвести вечно переживающую душу, корила мать великовозрастного, беспутного сына, подсобляя тому уложиться в путь-дороженьку, скорбными глазами присматривая, как сын суетливо и раздражённо, потев и краснея набыченной шеей, пихает в заплечный вещмешок мало-мальские харчишки и запасную одежонку, замызганный красками этюдник и стоящий коробом от налипшей краски, брезентовый мешочек с художническим скарбом. От брезентового сидорка, добела выжженного солнцем, чиненого-перечиненного, кажется, уже тёплыми, миражными волнами плывёт смолистый сосновый дух.

– Природу нюхать? – со вздохом покосилась мать на выдавший виды сидорок.

– Её, матушку... – выжал смущённую улыбку сын, поморщился и пуще покраснел, словно виноват: он-то убегает в тайгу от житейских хлопот, сжигающих душу подобно легиону бесов, и будет счастлив в таёжном храме, а мать останется в городе, обойдённая таёжным счастьем; будет одна куковать в каменном мешке, долгими часами высиживая на лавочке возле подъезда, вяло от жары и приторной асфальтовой духоты судача с товарками, с такими же маломощными старушками, многие из которых, как и она, покинули родные деревеньки, чтобы скоротать век подле детей.

– Да сходи, сына, в овраг ...за домами сразу... полынки нарви и нюхай свою природу, нюхай, хоть занюхайся, – через силу улыбнулась мать, и в глазах ее, заморгавших от приливающих слёз, сизо притуманилась печаль. – Может, глядишь, и полегчает, – полынка, она, паря, шибко пахнет, за версту слышать. И незачем будет в эдаку даль переться, ноги да время убивать... От тоже блажь-то, а... Носки-то, носки-то овечьи положи, не забудь, – тут же заботливо спохватилась мать.

– Да у меня на ногах тёплые носки – хватит, куда мне их, солить?! – отмахнулся сын, уже созревший от долгих сборов. – Ты бы мне ещё ватное одеяло завернула и подушку...

– Ничо, ничо, сгодятся запас карман не тянет.

– Куда ложить?! И так уж мешок полный.

– Положи, положи, не давят. А там мало ли что: ноги промочишь – на ночь сухие носки оденешь, да и ночи-то студёны... Илья отошёл, бросил в озеро подкову, и вода остыла. О такую пору мы уже и не купались, не – остывала вода... Ой, беда, парень, с тобой, бединушка... Хошь бы уж поясицу пожалел, опять загинаться будешь, идол окаянный. И какую холеру ты в тайге творишь, ума не приложу...

– Порисую, напишу...

– А зачем с ночевыми-то?! Обыденкой бы сбегал за город да и нарисовался досыта – за городом лес тоже бравый, с листьями...

– Не люблю я обыденкой: к обеду добрался, а вечером назад топай – дорога сплошная; а с ночевой в тайге – красота... Попутно и бруснику буду брать...

Чтобы не дразнить мать, не пугать сибирскую крестьянку, недавно ставшую горожанкой, иркутянкой, и по деревенской породе не терпящую праздности в тайге, сын не стал договари-

вать самого заветного, что просто будет жить в тайге коротенькое отпускное времечко. Просто будет ходить, часами сидеть на замшелых колодинах в глухой урманной тайге, сидеть и слушать мягкую хвойную тишь, пахнущую груздями, прелью лоняшной травы, мхами, чуша-чьим багульником, можжевелевым духом. А вечерами, прихватывая ночь, будет полёживать на сухом облыске под матёрой сосной и, подживляя сучком костерок, станет слушать, как бурчит в глухом распадке ключ, то вынырывающий среди кочек и высоких кустов голубичника, то опять пропадающий под землей. Скрадывая лешачье ворчанье ключа, будет следить омороченным взглядом, как растут и опадают синеватые лопухи огня, ласково и вдумчиво обнимая прикоп-чённую медную манерку, где уже запохаживала омутно, по-комариному засипела бочажная вода, и вот-вот можно будет заваривать крепкий чай с брусничным листом и шиповником. И вдруг падёт на ум непостижимо простенькая, ясная мысль: «Господи ты мой милостивый, всюю-то жизнь бы вот так прожить! А то бегаем, носимся, словно с цепи сорвались, бьёмся, хлещемся, как рыба об лёд, а зачем, почему – бог весть. Поди, оттого и носимся как угорелые, чтобы сжечь век по-быстрому, света божия не видим, устаём бегать в потёмках, избитые, изволоченные. Да так и сжигаем век, не поняв, на какую потребу отпущена была жизнь и в чём счастье».

А не счастье ли – душой услышать смущённый, с придыханием, лепет рябиновых листьев, тронутых реденьким предночным ветерком? Не счастье ли – слушать и смотреть на тихо уплы-вающие в засиневшее поднебесье стволы берёз, от коих девичьим многоголосьем повеет вдруг закатная русская песня? А там, глядишь, и ночь выспела: взошли, ледянисто позванивая, звёзды – Божьи светлячки, но с пугающим шелестом пролетают незримые впотьмах полуноч-ные птицы-нетопыри, опахивая холодом чуть шаящий углями костерок и твоё лицо, замершее в таинстве ночи. Кто-то в дремотной темени вдруг ухнет и заплачет навзрыд, защемив болью и страхом твоё сердце. Чья же бесприютная душа мается, кружит над землёй? Скоренько под-кинешь в костёр сушняка и всмотришься, как, приплясывая, колыхаясь и раскачиваясь, хоро-водятся над полымем ночные крали – бабочки-метляки; багрово взблёскивая, они падают в огонь с опалёнными крыльями. «Господи милостивый, – подумаешь мимолётно, жалостно и печально, – как это похоже на нашу юность...» А уж с черёмушного неба станут срываться уста-лые звёзды и полетят встречу твоему взгляду, словно метя тебя в ночи бесплотным сиянием. Но благостно коротка летняя ночь: лишь стемнеет, глядишь, уже и рассинеется небо над лесом, и берёзовая грива под сухой хребтиной нальётся по самые края птичьим журчанием. Серебристо засияют в распадке инистые травы, и помянется сенокосное отрочество, послышится власт-ный клич отца, долетит похожее на звон бубенцов звяканье молотка, отбивающего литовку на железной бабке. А тебе, мокроносому парнишонке, так не хочется вылезать из балагана, кры-того листовничным корьём и сеном, угретою за ночь материнским и отцовским теплом. Так не хочется выбираться на зябкий воздух и окунать голые ноги в студёную росу; тебе хочется спать, и ты с головой кутаешься в баранью доху, стараясь растянуть сладкие остатки сна. Но подкрадётся старшая сестра и приснет в лицо водой, набранной в рот, отчего ты подскочишь как ужаленный, выкатись из балагана. А тут и отец подоспеет, поочерёдно вытянет по хреб-тинам волосяной путой, которой на ночь спутывал коня, чтобы не убрёл далеко от покоса.

Помянешь сенокосное отрочество и, умываясь из таёжного бочажка, припрятанного в кочках, отдуешь хвоинки, былинки, заглядишься в своё отражённое в воде лицо и опечалишься о судьбе, изрывшей и взбороздившей лицо: и полвека не прожил, а сколь уже накопилось и скорбно мудрых, и злых морщин, сколь довременной устали тенью легло у насмешливо ско-шенного рта, возле прищуристых глаз. Может, в тайге посветлеет, разглядится лицо... И бла-гостно будет, если в таёжные дни и ночи, словно в храме Божиим, душу покаянную не стиснут корысть, гордые помыслы, отупляющая похоть; благостно будет, если души коснётся по-дет-ски зоревым, богородичным духом лишь смиренная природа – дивное Творение Божие, и не пытайся искушать её, непостижимую в Небесной тайне, чтобы не замутить в душе родниковый,

певуче подрагивающий восторг или бесконечную небесную задумчивость, когда думы, словно видения, наплывают осиянными солнцем, тёплыми волнами. В эти редчайшие таёжные часы, возлюбив отмягшей и отпахнутой душой всё живое и сущее на Земле, может быть, прикоснёшься лёгким сердцем к Всевышнему, отчего уже не так будет чёрен и страшен исход души, и не жуткая, глухая темень привидится за жизненным краем, а замерцает далёкий-далёкий, вечный и ласковый свет.

* * *

Сын не поведал матери об отроческих видениях, да и постеснялся бы, столь сокровенно, а лишь, досадливо вздыхая, отмахивался от назойливых материных наставлений, от её жалостливых взглядов.

– Брусницы наберёшь? – насмешливо переспросила мать, обиженно подбирая иссохшие губы. – Дак это чо, надо в магазин бежать, куль сахару брать. Ягоду-то чем засыпать?! Да шибко-то много не бери, а то проквасим... О-ой, не свисти, парень. Метёшь языком, что помелом... Брусницы он наберёт, ага; держи карман шире. У меня от твоей брусницы ещё с лоняшнего лета оскомины на языке. Наберёт он, ага... Голову-то хошь не потеряй, назадь принеси, Лёха Боханский⁴⁰...

– Четыре ведра хватит?

– Четыре?! О-ой, ой, ой!.. – Мать испуганно округлила глаза, отвернулась от сына и замачала обеими руками, потом поднялась и, тяжко вздыхая, потирая согнутую поясницу, пошла накрывать на стол.

Чтобы не мешать ей, – тесна городская куть, – сын вынес раздутый пузырьком вещмешок в прихожую и уже оттуда досказал:

– Вот увидишь, полный горбовик⁴¹ напластаю. Горбовик сошью из бересты... Бери сахар, не прогадаешь... Я же фартовый, – усмехнулся он. – Спорим, горбовик добуду?

– Кто спорит, тот назьма не стоит... Иди-ка ты, ботало коровье. – Мать обречённо и ласково махнула рукой. – Ведёрко принесёшь, дак впору Боженьке свечку зажигать, а то и с полыми руками воротисься...

– Но уж с пустыми руками сроду из тайги не выходил... Лоняшнее лето сколь брусники приволок?..

– Ведёрко за семь дён... А харчей сколь перевёл?! Одежонку, обужонку испластал в труху... Да бог с имя, с харчами, с одежонкой, обужонкой, сам-то измотался... Брусницы он напластает, ага... Корней да коряг наташит... Всю избу сучками завалил, адали⁴² в тайге живём... Ой, горюшко с тобой, парень... Сбегал бы обыдёнкой, не маялся. Пошукал да, глядишь, и по оборышам бы ведерко набрал. Много нам надо...

– Да, мама, не в бруснике дело... – не утерпел и проговорился сын, в раздумье прислонившись к дверному косяку, поглядывая на мать, гоношашую обед. – Устал я, мама, замотался, отдышусь в тайге...

Но мать, разворчавшись, пустила мимо ушей сыновью скорбь.

– Вон сосед наш ...выше живёт, Борода⁴³... из тайги не вылазит, дак тот и черемши⁴⁴ добудет, и жимолости, и черники, и брусники, и орех колотит кулями, – ничем попустится. Тёща так на базаре сиднем и сидит, торгует. Борода и тайги нанюхается по самые норки ...

⁴⁰ Лёха Боханский – так в Приангарье дразнят простоватых парней и мужиков.

⁴¹ Горбовик – плоский короб из лёгкого металла или бересты, с ляжками, который носили на спине (на горбу).

⁴² Адали – будто, вроде.

⁴³ Борода – нарочито искажённое имя Володя.

⁴⁴ Черемша (медвежий лук, или дикий чеснок, или колба) – многолетнее травянистое растение, вид лука.

ишь щёки-то жаром горят, хошь портянки суши... и деньги гребёт совковой лопатой. Себе легковушку взял, теперичи и сыну купил «порожню»...

– «Запорожец»⁴⁵, мама...

– Подороже?.. Во-во, я и говорю, подороже. И в избе обстановка, как у министра...

– Ты что, у министра в избе гостила? – улыбнулся сын, прижимая коленом заплечный мешок, потуже затягивая горло.

– У министра?.. Гостила, гостила... Похохочи, похохочи... потом спохватишься: близенько локоток, да не укусишь... У Бороди птичьего молока не хватает, остальное все есть. А кто он, Бородея?.. Вахтер на проходной: сутки дежурит, трое отдыхает, копейки получает... Вот с тайги-то и кормится...

– Ну и молодец, пусть кормится с тайги, – ответил сын, пройдя в куть, где мать уставляла стол горячими, только что вынутыми из духовки творожными и брусничными шаньгами и пирожками. – Не ворует, и ладно, своим горбом добывает. Оно, конечно, пуп рвёт... Да и не в коня овёс – злой стал, как собака: напьётся, даёт жару домочадцам... Милицию вызывали...

Жалеючи мать, сын опять умолчал, что по былому, скорбному опыту ведаёт: надсадные, свирепые деньги, что гребут из тайги озверевшие таёги, мало кого осчастливили. Бог весть, что творится у басурман, у русских же бешеные деньги – бешеная жизнь: иные кутили с куражом и размахом, до нитки спуская в кружалах добытое потом; бывало, и спивались, семьёй попускались; иные, редкие, вроде кощья-бессмертного, чахли над туго набитым бабьим чулком, не ведая, где вывернуть чулок наизнанку... воистину, некуда деньги девать... а не ведая, бегали, по-собачьи вывалив парящий язык, доставали, меняли, перепродавали и... на полном бегу влетали в кедровую домовину, не успев и смекнуть: зачем жил, зачем барахло копил, зачем небо копил?.. И наряды в гроб не упакуешь – не сундук же, что богатые невесты, запирая, прижимали коленом; и положат тебя в старом френчике, в ношеной сорочке, дожелта застиранный ворот которой стянут шёлковой удавкой с дешёвой булавкой; и мошну в могилу не возьмёшь – рай не купишь, тартары – задаром; разве что родичи закажут лаковый гроб – дольше гниёт, оградку чугунную, надгробье из мрамора да поминки сытней и пьяней, чем у бедных. А душу, заросшую дикой шерстью нераскаянных грехов, ступившую на лестницу, тут же ухватят крылатые ночные духи и унесут в тартары, где огонь, сера, червь неусыпный и крик неумолчный... А ведь Царь Небесный упреждал маловеров: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие... Не собирайте себе сокровищ на Земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на Небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше... Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них... Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?..». Эх, не слушали мы глас Небесный...

Но коли на зависть нищих сребролюбцев свирепые добытчики и процветали в миру, то все едино, эдакие заядлые таёги вроде Бороди были обижены судьбой: шныряли по тайге, порой ненавидя и безбожно матеря тайгу, ежели скупно отворяла закрома; носились сломя голову, словно седалище скипидаром смазали, рыскали по тайге с хрипом, стоном и лаем, без огляда либо опасливо озираясь; бегали глухо и слепо, и души не чуяли певучего восторга от синеватых рассветов, когда ты – не добытчик, грешный и суетный, но созерцательный молитвенник, вдруг неземно полегчавший, уже не чуешь одышливую плоть, кружишь блаженной душой над кедровыми кронами, возносясь к звёздным россыпям.

С Бородей художнику довелось колотить шишку в прибайкальских кедрочах, и, глядя на ночь, прихлёбывая курильский чай с брусничным и смородишным листом, толковали о тайге.

⁴⁵ Дело было в конце семидесятых годов XX века, когда и машина «Запорожец» была признаком достатка.

«Таёжные добытчики ... пусть браконьеры... они ведь, паря, урона тайге не приносят, – внушал Борода, – они речек и озёр не губят, и Байкалу от браконьеров нету вреда... А вот Байкальский комбинат да Селенгинский впридачу, эти да-а-а, эти гробят озеро...» Ясно море, таилась доля правды в оправданиях и обличениях байкальского промысловика, но художник чуть было не усмехнулся в багровое лицо Бороды: мол, тайгу и озеро вы, разбойники, может, и не разорите, а душу-то запустошите... В бане месяцами не моетесь, пню горелому молитесь; живёте без Бога и царя в голове, гонитесь за долгим рублём, стыда не ведая; стыд вам – помеха, вот и рыбу гребёте, зверя бьёте, чихая на запреты и сроки; потом родной народец обдираете, как липку: такие цены ломите, что даже богатенький мужичок в затылке поскребёт и покачает изумлённой головой. А проснётся совесть, ужалит душу, но тут же и отмахнёшься, словно от комара: де, ничего страшного, кому надо, тот купит; мне выложит, на производстве украдёт, – деньги не пахнут... Но ни словцом не упрекнул художник нахрапистого таёгу, ибо и сам день во грехах, ночь во слезах, ибо рече Господь: «Что же видиши сучец, иже во оце брата твоего, бревна же, еже есть во оце твоём, не чуеши?.. Лицемере, изыми первее бревно из очесе твоего, и тогда узриши изяти сучец из очесе брата твоего».

* * *

Пока наш художник предавался скорбным думам, мать вынесла из кухни мешочек с тёплыми постряпушками, велела сыну развязать вещмешок и сунуть подорожники.

– Ну да бог с ней, с одежкой да и с ягодой, сам-то намаешься, вот горе, – вздыхая, ворчала мать и, обиженно поджимая губы, досматривала сборы.

Мать печалилась, ибо не могла уразуметь деревенской сутью сыновью тягу в тайгу, а сын тайну прятал глубоко в душе, боясь, что на свету, в суесловии полиняет, обтреплется сокровенность и святость тяги к таёжному уединению, или уж не умел путно обсказать матери, разумеющей тайгу, как заготовку дров на зиму, веников для бани, жердей на заплоты, сбор ягод и грибов, и не ради наживы, а лишь для законного прокорма. Похоже, матери было и боязно отпускать сына в тайгу ... без материнского догляда окажется, бедолага; она потому и умирать боялась... и печально было оставаться наедине с каменными стенами; похоже, мать и бессознательно ревновала сына к тайге, словно сын уходил к иной матери, кою любил не меньше, чем её, а вдруг и больше...

Хотя... хотя и мать в цветных и сокровенных снах и видениях, похожих на голубичное мерцание, поминала благодать Божию, когда с деревенскими подружками бродила в лесном распадке, выискивая курешки⁴⁶, где голубицы синим-синё... Насадит, бывало, старый свекор девок и баб в телегу, где уже увязаны две-три бочки, – и покатили в ближний лесок; благо голубица синела сразу за поскотиной и всем за глаза хватало – бери, не ленись; а прозевал – неоглядные голубичные поля прильёт инеем и уже не взять ягоду, отмягшую и водянистую. И вот, бывало, отведут душеньку: все песни перепоют, едучи лугами, потом тенистым просёлком, усыпанным жёлтой лиственничной хвоей, перевитым вспученными корнями. А уж в лесу гаевун в руки – и хлещешь голубичник этим сплюсненным бездонным ведром, похожим на воронку; впрочем, домовитые молодухи красовались берестяными гаевунами – лёгонькие, хватистые и голубичник не бьют. И вот уже на ветреной елани⁴⁷ раскидывают добела выгоревший брезент – набил ведро, тут же провеял, и синеватым, рясыным снегом сыплется голубица, летит в траву лист. И опять сельская песнь плывёт над еланными травами, над кучерявыми, красными саранками и белыми ромашками, над синими черевичками, что кукушка сронила на лету...

⁴⁶ Курешки – ягодные поляны.

⁴⁷ Елань – таёжная поляна.

Схлынет азарт, разогнёшь сладостно занемевшую спину, оглядишь благостным взглядом вековые листвяки, вольно, вкривь и вкось торчащие из зарослей голубичника; и от полуденного леса повеет в душу ласка, и томное лицо озарит блажная, беспричинная улыбка. Легко, светло на душе, и даст Бог силы для натужной послевоенной жизни. Словно десять лет махом скинешь с плеч и чувствуешь, как умягчается натруженная спина, как весёлая, тугая, забродившая кровь приливает к щекам, как слетает с глаз серая, житейская пыль, и глаза светятся вольно, будто озёрная вода, когда растает потемневший, ноздреватый лёд...

Похоже, нынче и мать потянуло вслед за сыном в тайгу – вся-то жизненка в тайге да подле тайги прошла – и мать, хоть и таила, не показывала виду, а всё ж завидовала сыну. Но без задела, впуссию бродить по тайге, любоваться на берёзовую гриву, на зеленоватую речушку, лешаком бормочущую в студёной тени буреломов, а любясь тешиться безлюдьем и одиночеством – этого мать не могла смекнуть крестьянским разумением и, не понимая, тревожилась за сына, словно тот страдал неведомой ей хворью, и, чтобы не выказать боль на людях, не омрачить их души, чтобы и самому не опозориться, чтобы не расстроилась мать, нет-нет, да и убегал в тайгу подлечиться. Звериним чутьём ищет рыскающая собака целебные травы, лечится диким разнотравьем-разноцветьем, чаровными кореньями, вот и человеку, похоже, издревле Бог отсулил сокровенное знание целительных путей, ведущих в спасительный храм; а и тайга – храм, где купол – небеса, белёдые и знойные либо по-вашему синие, усеянные звёздами. Властная тяга сына к глухومانному уединению пугала мать; однажды почудилось: вроде изурочили унылого, и мать невольно прошептала ветхий заговор от изуроченья, что запомнила от бабки с деревенским прозвищем Ромашиха: «Под восточной стороной стоит белая берёза, под белой берёзой белый камень, под белым камнем рай-щука; у рай-щуки губы медны, зубы железны, глаза оловячны. Сними, рай-щука, с раба Божиего Алексея уроки и призоры, и шепоту, и ломоту, и страх, и переполох...» Спихватилась мать: Господи, помилуй!.. Что ж она, христианка православная, кланялась не Царю Небесному и Царице Небесной, не Ангелам, Архангелам, Херувимам и Серафимам, а щуке, твари водяной?! И, божась, крестясь, молилась мать: «Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй раба Божия Григория, немощствующа, посети милостию Твоею, прости мышцу Твою исполнену исцеления и врачбы: и исцели его... Ей Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с Нимже благословен еси, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

* * *

– Пожалел бы ты себя, парень, – не унималась мать, глядя, как сын правит оселком небольшой ладненький топорик. – Лучше бы в конторе путёвку выколотил да съездил бы отдохнул на курорте, как путние люди-то делают.

– В Сочи на три ночи? – улыбнулся сын.

– А ты не скалься, не скалься, идол окаянный. Забыл уже, как весной загибался, поясницу не мог разогнуть. Пропадёшь же... Хошь бы уж подлечился мало-мало, раз отпуск дали. На аршан⁴⁸ бы съездил...

– Ничего, мама, живы будем – не помрём, ещё спляшем и споём, – отозвался сын, пробуя пальцем бриткость топора, прежде чем сунуть его в кирзовый чехол. – А в тайге самое лечение. Кострища нажгу, на горячий пепел пихтового лапника настелю и прогрею поясницу. И Машка не царапайся, и Васька не чешись... Всю хворь и ломоту как рукой снимет.

Мать покосилась на сына, снисходительно усмехнулась:

– Вроде охотник ранешний...

⁴⁸ Аршан – курорт.

– Да я в тайге про все болезни забываю.

Сын опять умолчал, что и год-то дюжил мечтой: сойдут снега, отзвенят ручьями полые воды, нальются распадки сочной зеленью, а там уж и до августа рукой подать, там уж тайга, а после... после можно греться и тешиться воспоминанием, в не будь эдакой таёжной блажи, закатилось бы красно солнышко и жизнь обратилась бы в томящий душу, морозящий дождь. Смолчал сын и о том, что уже свалил четыре листвяка и дюжину сосен, раскряжевал под будущие избяные венцы, ошкурил, уложил в штабель, и ныне, Бог даст, начнёт рубить зимовье. Для какой требы надумал рубить зимовье в буреломном таёжном укроме, в потаённой Божьей пазушке, он и себе не смог бы ответить, но душа просила, загадывая далеко вперёд его судьбу.

– Однако, пошли чай пить, – позвала мать.

– Ой, мама, не охота. Недавно же чаевали. – Вспотевший, издёрганый, измученный виной перед матерью, сын опять суетливо укладывал и перекладывал, ворошил манатки в распухшем мешке и об одном лишь мечтал – скорей бы уж вырваться из дому на простор.

– Попей на дорогу. Когда ещё сегодня придётся чаёвничать. И некому будет потчевать.

– Ладно, – согласился сын, чтобы лишний раз не обижать матушку, – пошли, попьём чаю.

– Ой, парень, парень, – опять завздыхала мать, усевшись за столом напротив сына, скорбно подперев голову рукой, – говори, не говори, все как об стенку горох. Ладно бы, на день-два, а то ить почти на месяц. И что тебя манит в тайгу, ума не приложу. Аль присушила тайга, чисто девка красная, мёдом мазанная? Уж поскорей бы женился, да взяла бы тебя баба в ежовы рукавицы, всё бы лишняя блажь из головы вылетела. И шатался бы, шатун, пореже.

– Я не шатаюсь.

– Ох, самое бы время на аршан ехать, – снова да ладом толковала мать про курорт. – На аршане бы, глядишь, и девку присмотрел. Люди-то баят, девки и бабы вдовы на аршан за мужиками ездят.

– Ага, там их на курорте припасли, мужиков-то, – засмеялся сын. – На пляже штабелями лежат, а бабы ходят выбирают, как в лавке...

– Вот, глядишь, и тебе поддует...

– Ну ты, мама, сказанёшь, так сказанёшь, хоть стой, хоть падай. Ага, поеду я за тыщу вёрст киселя хлебать – бабу искать; делать мне больше некого. Надо будет, так и в городе найду.

– Ой, не говорь, кума, про пряжу, сама лажу. Чего тогда сиднем сидишь, кукуешь, как старуха-вековуха?! По таким летам в деревне уже и внуков нянчили...

– Давай, мама, лучше о погоде поговорим, – сморщился сын, нервно прихлёбывая чай.

– Да кто за тебя, шатуна, пойдёт?! Какая дура?! Одна была, да и та сплыла: подол задрала и скрутилась, крутель белого света.

– Мама!.. – Сын мрачно поглядел на мать, чтобы не сыпала соль на рану, еще кровото-чащую; было лихо поминать жену, сбежавшую вместе с сыном к сноровистому художнику.

– А ты не обижайся, не обижайся; кто тебе скажет, ежели не мать?! А я, сына, тоже не вечная. Ты бы ладом жил, семьёй обзавёлся, дак мне бы и помирать легче. Было б на кого оставить. А то живёшь бобылём, мхом уж зарос. Аль добрых девок нету, аль всё по той страдаешь, по... – мать хотела прибавить перчёное словцо, но удержалась. – И не дуйся, не косись на меня. Думаешь, легко мне глядеть, как ты убиваешься? Вот и тайгу бежишь, а по мне дак лучше бы в церкву сходил помолвился, причастился. Оно бы и полегчало...

– Женюсь, мама, женюсь, не переживай. Таковую молодуху приведу – закачаешься. Будем на пару в тайгу ходить...

– Во-во, испидиторшу найдёшь. Добрая-то баба разве ж будет по тайге шастать с мужиками?

– Зачем «шастать»? Я, может, со временем в тайгу укуочую. Может, в таёжную деревеньку вроде займки. Женюсь, ребяташек наплодим, заведём корову и коня, буду рыбу ловить, сено косить, грибы, ягоды собирать...

– О-о-ой, мели Емеля, твоя неделя. – Мать замахала руками на сына, хотя тот живописал такую отраду её деревенской душе. – Корову он заведёт, коня... Будете на пару природу нюхать, а потом – зубы на полку. Борода с помело, а брюхо голо. – Мать жалостливо и скорбно покосилась на сына, забородатевшего по самые очеса. – Нишшету вам разводите, лодырям, а не скота...

– Ладно, мама, пора трогаться. – Сын вылез из-за стола, перенёс в прихожку увязанный сидор и вскоре предстал перед матерью уже в брезентовой куртке, в кирзовых сапогах, смазанных дёгтем; приобнял мать за плечи, чему-то вдруг засмеялся, но смех его горько потрескивал, словно перекалённый, и все казалось, вот-вот незаметно перевалит в плач, в надсадное, неутешное рыдание. – Ты уж тут не переживай, ладно? Если будешь переживать сильно, мне там будет тяжело. Да я нынче по-быстрому вернусь... Давай присядем на дорожку.

Мать, трижды перекрестившись на божницу, трижды земно поклонившись, прошептала вялыми, усталыми губами:

– Милость Божия, Покров Богородицы, молитвы святых рабу Божию Григорию во всём путешествии. Святый отче Николаю, заступничек Божий, моли Бога о путешествующем рабе Божиим Григории...

Мать измождённо опала на стул, сын примостился прямо на вещмешок, и, помолчав, повздыхав, поднялись.

– Уж ты, сына, в лесу-то поосторожнее будь, не залезь куда, – сквозь слёзы просила мать уходящего сына и шептала подорожные молитвы, часто и мелко крестя иссохшими перстами. – И пошто один-то ходишь?... Подпарился бы к мужику, да и на пару бы... Одному в тайге несподручно, рискованно. Не дай бог, ногу подвернёшь... Ой, беда-бедушка с тобой, парень...

– Ничего, мама, не переживай, не впервой же, – прокашливаясь, прочищая запершившее горло, заверял сын, отомкнув и отворив дверь. – Тут скорее... наскребёт кот на свой хребет, а в тайге бояться нечего. У меня и ружьишко доброе, и балаган обжитой, и час ходу, там лесник живёт... Так что не переживай...

– Ну, с Богом, сынок! – Мать ещё раз перекрестила сына, по древлему благочестию высоко вознося сурово скрюченные персты.

– А ты сахар-то запасай, запасай, бруснику будем засыпать, – через силу улыбнулся сын, быстро поцеловал мать в покрасневшую, дряблую щеку и чуть не бегом кинулся по лестнице вниз.

* * *

Всю дорогу от каменной жилой башни до автобуса томительно маячило перед глазами материно лицо, припухшее от слёз и сникшее, словно в последний путь провожала. И раздражённо ворошились в усталой голове вечные думы: «Господи ты мой, и какая злорадная сила смахнула мать с земли, выдернула из глухой сибирской деревни, из родной избы, от доживающих век родичей, из полей и берёзовых перелесков, от синеющих озёрных плёсов и ржаных полей?... Выдернула, заточила душу в каменную башню, из окна которой только и виделись ей такие же серые девятиэтажные башни да небо с овчинку». Сын вроде запомнил, что сам же и сорвал мать из таёжной деревеньки, привёз в город... не куковать же старухе одной в древней избушке... а не захотел же осесть возле матери, в город смотался. Хотя как ему, художнику, в деревне жить?! И ясно увиделись заострённым в печали взором чёрные, крылатые демоны, кои на потребу лукавую поснимали народ с отчих сёл и деревень, пораскидали по городам и северам, чтобы навек угасла тяга к земле, к отчине с избой и вербой. А выгнав и сманив из деревень, лихая сила приставила народишко, словно роботов, к мёртвым машинам, освободив руки от ремесла с художеством, а потом ещё и грядущей смертью нависла над матерью сырой землёй.

Оно, может, и сгоряча решилось, в сердцах, но художник помнил по деревенской юности, как манили их, молодых, из деревень на севера и стройки, какими героями рисовали шатуннов, кочующих по стройкам. В лихорадочных огнях новостроек смутно виделись родные деревеньки, в зверином рыке машин и турбин смутно слышались старинные речения: где родился, там и сгодился; где сосна выросла, там и красна... Хотя, опять же, надо было державе и машинную мощь созидать, чтобы нерусь и нежить не обратила народишко в холопов подъяремных. Но и деревню грех было разорять и пустошить...

«А может, в родную деревеньку махнуть, чем по тайге-то шататься?.. – спросил Лёша Русак душу. – Трудно отказаться от городских благ, но ведь надо же и прибываться к одному краю...» Душа молчала... это ж не с разбегу на телегу... но мысль запала в душу, и художник понял: теперь уже не даст покоя.

Когда, сшибаясь с людской рекой, огибая пьяненьких мужиков, будто на прибойных волнах выплыл на остановку, когда раздражённо ждал опаздывающий автобус, злобно глядя на непрерывный и плотный хоровод машин, морщась от выхлопной вони, когда с боем, в яростной давке влез в автобус, чтобы добраться до автовокзала, то уже от раздражения ненавидел людской муравейник, и чтобы унять гордыню, гневливость и немилость, подумал обречённо и сострадательно: «Страшно и суетно живём, но, может, человеку необходимо пройти и эту толчею, чтобы на последнем издыхании вернуться блудными сынами и дочерьми к спасительной природе, к здоровому, слитому с природой, земному житию, кое благословило Небо? Ибо мать сыра земля в силах вытерпеть человека лишь до пределов крестьянской и ремесленной общины...»

Думы, хоть и заунывные, всё же обуздали раздражение, и чтобы пуще успокоиться, художник с блаженной улыбкой вообразил: сойдёт в крохотной таёжной деревеньке, пойдёт вначале жёлто-хвойной просёлочной дорогой, затенённой могучими лиственничными кронами, потом свернёт на горную тропу, чуть видную среди мхов и низкого чушачьего багульника, и, перевалив хребет, в узком распадке у ручья разведёт костер, заварит чай с мятой и богородичной травой, с листьями дикой смородины и брусники и в шуме кедровых вершин, в шелесте листьев и трав, в говоре ручья услышит благословение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.